



Это цифровая копия книги, хранящейся для итомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиции Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иередает в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все иометки, иримечания и другие заиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиции Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредирияли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает и пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

WID - LC

BDI

HW 8AE8 3

PG
3948
.F7
M3X

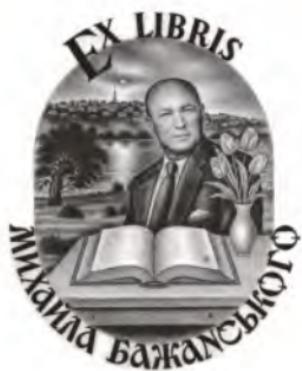
WID-LC

PG

3948

.F7

M3x

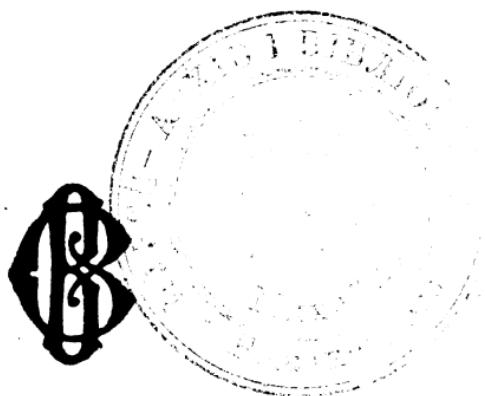


A gift to the
Ukrainian collections from
MICHAEL BAZANSKY
Harvard College Library

ІВАН ФРАНКО.

МАНІПУЛЯНТКА

І ІНЬШІ ОПОВІДАННЯ.



ЛЬВІВ, 1906.

НАКЛАДОМ УКРАЇНСЬКО - РУСЬКОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПІЛКИ,
зареєстрованої спілки з обмеженою порукою у Львові.

WID-LC

PG

3948

F7

M3X

✓

FRANKL
= „MANİTULİANTKA”

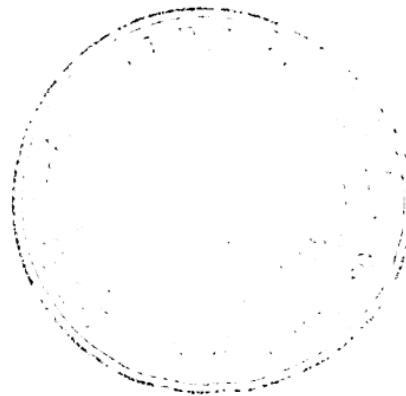
Bazarsky



З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка
під зарайом К. Беднарського.

З МІСТ.

| | Стор. |
|------------------------------|-------|
| Маніпулянтика | 1 |
| Лесиця челядь | 109 |
| Між добрими людьми | 135 |
| Чи вдуріла? | 175 |



МДЖИЛУЛЯНСКА.





I.

Целя збудила ся рано, пів до пів до семої. Збудила ся з привички. Що другий день у неї передпілуденна служба на пошті, де вона служить експедиторкою. Передпілуденна служба починає ся о семій і триває до другої по пілудні. Целя, совісна і точна в сповнюваню своїх обовязків, як загалом усі жінщини допущені до якої будь публичної служби, привикла від давна будити ся о пів до семої, чи того треба, чи ні, і ні за що в сьвіті вже опісля не може заснути.

Хвилю вдивлювала ся своїми великими, чорними очима в напротивну стіну, закрашену синявими арабесками по сірому тлі. Посеред стіни висіло велике зеркало, а по обох боках його широкої, золоченої рами видно було дві

трупи фотографій у різьблених, деревляних рамочках. Представляли вони її товаришок зі школи і з поштової служби. Целині очі досить довго зупинилися на тих фотографіях, хоч рисів лиць на них не можна було розпізнати; в покoїку стояв легкий сутінок, бо одиноче вікно, що виходило на вулицю, заслонене було деревляною ролетою.

— Котра то там година? — шепнула Целя і простягши руку взяла з круглого столика, що стояв тутоже в головах у неї, малесенький, золотий кишеневковий годинник. Хоча з досвіду знала, що будить ся все о тій самій порі, але сама собі не довіряла.

— Пів до семої! — сказала. — А мені здавало ся, що я сьогодня заспала. Правда, нині рано служби не маю, ну, але потурати собі не треба. Засплю нині, то засплю й завтра і спізню ся на службу!

Так міркуючи підвела голову і сіла на ліжку. Була тілько в сорочці, що обшита в горі коронкою і зіпята на раменах, ослонювала її груди і плечі, лишаючи голими гарні, мов із слонової кости виточені рамена і шию. На дворі був теплий мавій поранок. Лагідним рожевим пробліском просвічувало сонце крізь спущену ролету до покoїка молодої дівчини, наповнюючи його теплом і запахом весни, що мішав ся з запахом кольонської води, яка сто-

яла в фляконику на тоалетці, і резеди, що цвила в великім вазоні на вікні. Целя якийсь час сиділа немов забувши ся. Любо їй дихати тим теплим повітрем, насиченим пахощами, любо тонути в тім півсумерку, що лагодить усі обриси її блиски, спочивати в тій тиші зрідка перериваній торохтінем коліс по вулиці або гуком далекої військової музики, що виграває марш десь на третьій вулиці.

Але забуте трівало не довго. Целя отряслась із нього, стрепенула свою головкою з коротко обстриженим, мягким як шовк попелястим волосем, наділа панчохи і пантофельки власної роботи і прудко зіскочила з ліжка. Чула себе здорововою, сувіжою, молодою. Сон покріпив її; все, що було приkre або неприємне вчора, передучора і в цілій минувшині, тепер немов не існувало для неї. Думка її, півсонна ще, спочиває зі стуленими крильцями і не вибігає по за пороги тої сувітлички, не заглядає в будущину. Що там будущина! Що там минувшина! Якось то воно все буде! Целя почувава в тій хвилі тілько одну приємність, яку їй чинить правильне бите власної крові, тепло власного тіла, мягкий дотик власної шкіри, почує здоровля, сили і сувіжості власних мускулів. Зазирнула до зеркала, моргнула жартовливо до свого образа і засьміяла ся сердечно, показуючи два ряди білих, рівних і дрібних зубків в поза ніжних, рожевих губ.

МЯКИШУЛЯНТКА.





I.

Целя збудила ся рано, пів до семої.
Збудила ся з привички. Що другий день
у неї передполуденна служба на пошті, де вона
служить експедиторкою. Передполуденна служ-
ба починає ся о семій і триває до другої по
півдні. Целя, совісна і точна в сповнюваню
своїх обовязків, як загалом усі жінки до-
пущені до якої будь публичної служби, при-
викла від давна будити ся о пів до семої, чи
того треба, чи ні, і ні за що в сьвіті вже
опісля не може заснути.

Хвилю вдивлювала ся своїми великими,
чорними очима в напротивну стіну, закрашену
синявими арабесками по сірому тлі. Посеред
стіни висіло велике зеркало, а по обох боках
його широкої, золоченої рами видно було дві

трупи фотографій у різьблених, деревляних рамочках. Представляли вони її товаришок зі школи і з поштової служби. Целині очі досить довго зупинилися на тих фотографіях, хоч рисів лиць на них не можна було розпізнати; в покійку стояв легкий сутінок, бо одиноче вікно, що виходило на вулицю, заслонене було деревляною ролетою.

— Котра то там година? — шепнула Целя і простягши руку взяла з круглого столика, що стояв тутоже в головах у неї, малесенький, золотий кишеньковий годинник. Хоча з досвіду знала, що будить ся все о тій самій порі, але сама собі не довіряла.

— Пів до семої! — сказала. — А мені здавалося, що я сьогодня заспала. Правда, нині рано служби не маю, ну, але потурати собі не треба. Засплю нині, то засплю й завтра і спізнюся на службу!

Так міркуючи підвела голову і сіла на ліжку. Була тільки в сорочці, що обшита в горі коронкою і зіпята на раменах, ослонювала її груди і плечі, лишаючи голими гарні, мов із слонової кости виточені рамена і шию. На дворі був теплий місцівий поранок. Лагідним рожевим пробліском просвічувало сонце крізь спущену ролету до покoїка молодої дівчини, наповнюючи його теплом і запахом весни, що мішався з запахом кольянської води, яка сто-

яла в фляконику на тоалетці, і резеди, що цвила в великім вазоні на вікні. Целя якийсь час сиділа немов забувши ся. Любо їй дихати тим теплим повітрем, насиченим пахощами, любо тонути в тім півсумерку, що лагодить усі обриси їй блиски, спочивати в тій тиші зрідка перериваній торохтінем коліс по вулиці або гуком далекої військової музики, що виграє марш десь на третьій вулиці.

Але забуте трівало не довго. Целя отряслась із нього, стрепенула свою головкою з коротко обстриженим, мягким як шовк попелястим волосем, наділа панчохи і пантофельки власної роботи і прудко зіскочила з ліжка. Чула себе здорововою, сувіжою, молодою. Сон покріпив її; все, що було приkre або неприємне вчора, передучора і в цілій минувшині, тепер немов не існувало для неї. Думка її, півсонна ще, спочиває зі стуленими крильцями і не вибігає по за пороги тої сувітлини, не заглядає в будущину. Що там будущина! Що там минувшина! Якось то воно все буде! Целя почувава в тій хвилі тілько одну приємність, яку їй чинить правильне бите власної крові, тепло власного тіла, мягкий дотик власної шкіри, почува здоровля, сили і сувіжості власних мускулів. Зазирнула до зеркала, моргнула жартовливо до свого образа і засьміяла ся сердечно, показуючи два ряди білих, рівних і дрібних зубків з поза ніжних, рожевих губ.

За хвилину вже була вбрана в легку перкалеву спідничку і білій негліжик. Натомісь умиване заняло їй більше часу. Вода стояла готова у великій скляній умивальниці ще від учорашнього вечера, і Целя з правдивою роскішю нуряла в ній свої руки, мила лице, шию і рамена мягкою губкою, обтріпуючи мов горобчик грубі краплі, що нависали їй на довгих рісницах або з шиї котилися в низ на груди. Була се найбільша приємність її ранішньої туалети, упрощеної о скілько можна з огляду на службові обов'язки, приємність тим більша, що Целя могла в повній вигляді відчувати її тільки що другий день, коли мала пополуденну службу. В часі передполуденної служби треба було спішити ся.

Умивши ся і обтерши ручником, Целя перед зеркалом розчесала волосся, розділюючи його над чолом на дві рівні часті, а відтак за кілька мінут скінчила зовсім свою туалету, спокійно, систематично і без нічієї послуги. Хвилю стояла випростувана посеред съвітлички, широко розвела руки, відтак зчепила їх по над головою і спускаючи в низ, злегка хруснула пальцями. Потім підійшла до вікна і злегка потягнувши за шнурок піднесла ролету. Золотою хвилею бухнуло сонячне съвітло до съвітлички, заливаючи її осліпляючим блиском. Прислонивши очі лівою долонею, Целя упосадила блиском, тим теплом, тою фізичною роскішем.

шю житя, весни і молодості, всьміхнула і рум'яна поклонила ся на схід сонця і кликнула своїм звучним голосом:

— А! Якже там гарно! Добрий день, сонце! Добрий день, весно! Добрий день, небо блакитне!



ІІ.

З ким тє паннунця так розмовляють? — почув ся нараз від дверей голос старої служниці, що війшла, щоб попрятати в Целиній съвітличці.

— Моя Осипова — сказала Целя не відповідаючи на се питане, — може би час уже снідане дістати?

— А то що собі паннунця думають? — скрикнула добродушно Осипова. — Адже ж нині паннунця до служби не йдуть і разом з панством снідають. А панство ще сплять. Хиба де за голину снідане буде. Я ще навіть огонь не розклала ані каву не змолола.

— А, правда! — сказала Целя і її голос затремтів легким розчарованем. — Треба чекати.

На столику лежала до половини прочитана книжка, перед тижнем узята з випозичальні. Целя була не дуже то пильна читалька книжок, але в таких хвилях як отся,

коли треба було чекати з півтори години, вийти нікуди не можна, ані розмовляти нема з ким, книжка була її одинокою розривкою. От і сіла край вікна, з того боку, куди не било світло, і почала читати за той час, поки Осипова стелла постіль і прятала в сьвітлиці. Та ма-буть книжка була не дуже займаюча, бо не дочитавши навіть і одної сторони Цела відложила її на бік, попідливала свої квітки, по-змітала пил із столика, з пари крісел і з більшого стола, а далі з зеркала, з фотографій і з вікна. Крутячи ся по своїй сьвітличці трібувала стиха забреніти якусь пісеньку, але пісенька швидко урвала ся, а на чолі дівчини набігла хмарка.

— Коли-ж бо мені то не чинить приємності снідати з панством! — сказала нараз, тордо підносячи голову до гори, немов відповідаючи на якесь наклонюване. — Коли-ж бо я не хочу слухати дурного балакання пана Темницького ані бути метою огнестрільних поглядів панича Темницького! Адже-ж я не обов'язана підлягати їм! Адже-ж я плачу їм за харч і за хату! Адже-ж не з ласки вони держать мене!

Уся її фігурка тремтіла зі зворушення на саму згадку про товаришів спільніх снідань. Молоде чоло поморщило ся, очі стратили свій погідний, сонячний блиск, а довкола уст зарисувала ся якась складина болю і гіркості,

якої перед хвилею ніхто би там не був дослідив.

Целя були сирота без батька і без матери. Старий дідусь посылав її до школи, а пізніше через якихось знайомих виробив їй місце на почті (без протекції навіть такого мізерного місця дістати годі!), де здавши приписаний екзамен була принята за маніпулянту. Більше старенький не міг для неї зробити, та й за те, що зробив, Целя благословить його память. Пенсія експедиторки — 35 ґульденів місячно — вистарчує на скромне удержання; лекції музики на фортепіані і французької мови, котрі в свободних хвилях дає двом донечкам властителя камениці, вистарчають їй на вбране і інші приемності життя. В перспективі перед нею рисується по кількох або кільканадцятьох літах служба самостійний поштовий уряд десь на провінції, маленький домик з маленьким огорожем у малім місточку, квітки перед вікнами, стара служниця в кухні і тиха самітна съвітличка. Панна Целіна, що правда, рідко забігає думкою в таку далеку будущину, але завсігди, коли їй се притрапить ся, починає чогось зітхати — чи то з туги до такої ідилічної картини, чи з полуєзвідомого почуття, що не вважаючи на свою ідилічність ся картина криє в собі якусь порожнечу, якіс темні безодні.

По смерти дідуся Целя перейшла жити до пана Темницького. Пан Темницький був то приятель небіжчика дідуся і при смертельній постели обіцяв йому, що буде опікувати ся бідною, одинокою сиротою. Пан Темницький, то був пенсіонований урядник невисокої ранги, числив 68 літ, мав жінку о п'ять літ від себе старшу і глуху як пень, і одного сина, що скінчив у Відві медицину і практикував при тамошній клініці. Пан Темницький був то, що називає ся „веселий дідусь“: лисий, з великими вусами і мохнатими бровами, мав румяніщоки, мясисті губи завсіди зложені до усміху, малі і товщем запливаючі очка і здорові зуби, і виглядав при своїй жінці як її син, молодший від неї що найменше о 20 літ. Жив із своєї пенсії, скромно а акуратно, не служив ніде і нічим не займав ся. Весь день сидів у своїм кабінеті, курив люльку і читав газети, а вечером ішов до касина, відкин вертав перед десятою, аби не платити „шпери“. В касині, тобто в товаристві своїх ровесників славився як съміхованець і фацеціоніст, що не вважаючи на семий десяток літ доси не поズув ся охоти до авантурок, або, як він сам говорив, до „маленьких зворушень“. А дома, коли сидів за столом при сніданку або обіді і весь час свободний від жованя заповнював своїм балаканем, лагідним, монотонним і усплюючим, був подібний до гладкого кота, що-

роскішно муркотячи пасе очима якийсь лакомий кусник, але не хоче перед часом трудити ся хапати його, бо добре знає, що коли приде відповідна нагода, то лакомий кусник сам упаде в його аксамітні лапки.

Пів року вже жила Целя у панства Темницьких, день у день слухаючи монотонного воркотання пана Темницького і поглядаючи на його двозначні усміхи. З разу забавляла її гутірка того пана, але опісля знутила монотонність і обмежений кругозір його думок. Вона трібувала з ним сперечати ся, але се оказалось ся неможливим; усі її слова він приймав з добродушним усміхом, мов брикана малої, пещеної дитини. Та що пан Темницький ніколи не виходив із границь добродушної жартливи і не позволяв собі нічого, що би ображало приличність, то Целя чула себе при ньому супокійною. Хоронила її також жалоба, яку носила по смерти дідуся і яка по часті накладала пута й пану Темницькому. Але от-се перед кількома тижнями прибув із Відня молодий Темницький, лікар, і відразу він із собою до того тихого гнізда якийсь острий, задушливий дух, що від першої хвилі проняв Целю якоюсь трівогою, почав стискати її груди якимось невиясненим прочутем страху і небезпеки.

Доктор Темницький був високий, плечистий, сильно збудований мужчина, з правиль-

ними обрисами лица, з буйним, темним заростом. Рухи його були повільні і поважні, голос баритоновий, трошечка хриповатий, погляд холодний і немов наскрізь пронизуючий. З кожного руху, з кожного слова його було видно, що сей чоловік має дуже високе розуміння про свою вартість, що вміє панувати над собою, але заразом уміє і любить панувати над іншими і привик поборювати всякі труднощі, що стоять на заваді його замислам. Ворог усякого сентименталізму, він поглядав на світ холодним оком анатома і віддавна привик судити всіх і вся тільки з погляду свого улюбленого „я“. Ворог дотепу і жартів, один тільки зворот виголошував з певним відтінком юмору, а був то жидівський зворот „wus tojgt mir dus?“ (на що мені се придасть ся?). Був се його оклик, невідступна мірка, яку прикладав до кожної нової річи, щоб оцінити її вартість. Одним словом, був се чоловік наскрізь „позитивний“ і реальний. Хоч мав напевно не більше трицяти літ, то про те здавало ся, що у нього не було ніколи тої „шумної“ молодості, що він ніколи не віддавав ся ніяким ілюзіям, не знав що то запал і ентузіазм, що ціле його життя було рівною, простою лінією, без збочень, скоків і закрутів, без надмірних напружень, але і без слабостей і занесиля. Як у добрій машині, так і в нього все, здавало

ся, було обраховане, зважене і з гори зведене до певної рівноваги.

Перша його стріча з Целіною була дуже холодна і шабльонова. Старий пан Темницький презентував їй свого сина, той їй уклонився, Целя відклонила ся, пан доктор буркнув „Дуже мені приємно“ і зараз відвернувся, кінчачи своє перерване оповідання про якийсь клінічний випадок. Але по хвили, коли побачив, що Целя пильно придивляла ся йому, сказав тим самим спокійним і поважним голосом:

— Мушу вам, татку, показати фотографію моєї нареченої.

Батько аж уста розчинив і очі витріщив, бо ні про яку наречену свого сина нічогісінько не чув. Але син з непохитним супокоюм говорив даліше, скоса поглядаючи на Целю:

— Дочка прімарія головного віденського шпиталю, одиначка і спадкоємниця величезної камениці на Грабені. Заручини відбулися ще в мясопусті. Я не писав вам про се нічого, бо хотів зробити вам несподіванку.

Та не вважаючи на се вияснене батько не переставав глядіти на сина як на дивогляд, з зачудуванем і недовірем. Глуха пані Темницька, що не чула розмови, бачила тільки, що „татко“ забув про росіл, і торкнувшись його рукою за локоть, сказала гробовим голосом:

— Татку, росіл вистине !

Тимчасом доктор, що при столі сидів назустріч Целіні, звернув си до неї з кількома зовсім байдужними запитами, на які дівчина відповіла коротко, майже не підводячи очій від тареля. А коли обід скінчив ся і Целя сквално відійшла до своєї служби, пан Темницький, що доси ледво міг усидіти з нетерплячки, звернув ся до сина.

— Бій ся Бога, Мільку ! Що се за наречена, про яку ти згадував ?

— Наречена ? — відповів супокійно доктор. — Ніякої нареченої у мене нема.

— Ну, так я й думав. Але що-ж се ти за історії видумуеш ?

— Се для тої — і він мотнув головою в напрямі Целіниної съвітлички. — Виджу, що вдивляє ся в мене, мов у веселку. Ну, а я люблю кожду річ від разу ставити ясно, реально. Нехай собі дитина на мій рахунок не робить ніякої іллюзії.

— Га, га, га ! — засміяв ся п. Темницький. — Але-ж то хитрий пан доктор ! Що хитрий, то хитрий ! При першій стрічі з паночкою зараз і остерігас її : здалека від мене ! Я заручений !

— А воно й найліпше, — сказав поважно пан доктор. — Нехай з гори знає, чого від мене може надіяти ся, а чого ні.

Бачить ся однаке, що й сам пан доктор не дуже добре зінав, чого від нього можна надіяти ся, а чого ні. Кілька день він сидів на-супротив Целіни мало звертаючи на неї уваги, обмінюючи ся з нею ледво кількома байдуж-ними фразами. Пізнійше зробив ся ще мало-мовнійшим, про свою наречену не згадував, але натомісі кілько разів Целя осьмілила ся підвести очі, все стрічала його холодний зір впертий в себе. Ще кілька день минуло — і в чорних, невеличких очах доктора доглянула Целя якісь іскорки, що блимали ніби порохно перед пітьми і розтлівали ся що день то дуже. Було щось невідоме і зловіщє в тих іскор-ках, щось, що відбирало Целі апетит і моро-зило в ній усякий порив радості. Коли доктор промовив до неї часом, то почувала легку дрож на всім тілі, хоч доси нічогісінько тако-го між ними не зайдло, що надавало би хоч тінь оправдання тій її боязni.

Натомісі старий пан Темницький говорив тепер іще більше, ніж уперед, і своє балакане майже виключно звертав до Целіни. Шпильку-вав еманципацію і еманципанток, хоч Целя ніколи не хотіла вдавати з себе еманципантку, вигрібав старосвітські анекдоти про старих паннів, жартував з жінщин-урядників, почт-майстринь і т. и. Остаточно Целя почала звіль-на догадувати ся, що все те балакане не про-сте язикобите, але до чогось воно йде, має я-

кусь укриту ціль — яку, сього не могла догоупати ся. Чула тілько, що по вислуханю цілогодинного гуторія пана Темницького обхапув її якась утома, якесь обриджене до сьвіта і до житя, нехіть до праці і думаня. Тим то й не диво, що все те вкупі в короткім часі мусіло сприкрити їй спільні сиданя, обіди і проходи з панством Темницькими.

— Ні, не піду більше! — говорила вона тупаючи ногою в своїй съвітличці, але завсігди в рішучій хвилі покидала її сила волі.

Була сама на съвіті. Пан Темницький був одиноким другом її покійного дідуся, який дав їй його за опікуна. От і не диво, що її дитяча душа до крайньої можности держала ся за ту останню нитку, що бодай сяк-так вязала її теперішнє з минулим. Покинути сю нитку, то значило віддати ся безповоротно хвильам житя, без провідника, без точки опори. Целя, хоч молода ще, 18-літня дівчина, все таки знала вже з власного сумного досвіду і з неодного прикладу, що пускати ся на ті хвилі, то не жарт.

— Але все-ж таки вони добрі люди, — вспокоювало її золоте її серце. — Нехай і так, що у них є свої хиби, але не моя річ судити їх. За мною вони чесні і добрі, то щож можу їм закинути? Ні, ні, дурна я з моєю нехітю, з моєю глупою трівогою! Нерозсудлива я, невдачна, от що!

І накартавши так свої власні нерви, вона знов ішла в товариство Темницьких, щоб із нього знов винести ту саму німу трівогу, те саме знеохочене і здenerвоване, що й уперед, тілько ще в більшій мірі.

III.

 що там! — сказала Целя потрясаючи головкою і кидаючи ся то до вікна, то до зеркала, — дурна я, що собі такий чудесний ранок псую такими думками!

Глянула на годинник, — пів до осьмої. Ще що найменше година до снідання. Взяла книжку і трібувала читати далі, але й се не йшло. Сонце зазирало до книжки, блиск сліпив її очі. Щоденне семигодинне примусове сиджінє при почтовім бюрку було тяжкою панщиною для її молодого організму, що домагався руху і свіжого повітря, і для її живого темпераменту. А тепер іще сидіти в покою, мов миш у норі! Ні, се справді гріх. Кинула книжку і рушила в подорож довкола своєї съвітлички, шукаючи очима, що би можна перенести, поставити на іншім місці, або привести в порядок. Але ічого такого не добачила.

В тій хвилі знов отворилися двері її покою: війшла Осипова з кафякою съвіжої во-

ди. Поставивши воду вона стала і з усміхом почала дивувати ся в Целю.

— А ви чого так на мене дивите ся, як на ворону? — кликнула Целя з жартовливим обуренем.

— Бо маю рацію! — відказала Осипова всьміхаючись і моргаючи загадково. — А впрочім коли іншим вільно на паннуницю так дивити ся, то чому-ж би й Осиповій не мало бути вільно?

— Яким іншим?

— Кождому, хто тілько хоче. Адже-ж паннуця що день сім годин сидить там, за решіткою, мов на виставі. Хто хоче, може прийти і обаирати паннуцю, скілько його воля, і паннуця не може йому сего заборонити.

Целя вся спалахнула румянцем.

— Фе, стидайте ся, Осипова! — скрикнула з невданою прикрістю в голосі. — І ви вже навчили ся від старого пана цвікати мені в очі моєю службою! Що вам зивадила моя служба, що мене сверлуєте вичислюючи її неприємності? Чи думаете, що я сама їх не почуваю? Чи думаете, що мені се мило? Але що-ж маю робити? Адже-ж мушу якось жити! А ліпше істи свій хліб, хоч гірко зароблений, ніж умирати з голоду, або...

Не докінчила. Сльози здавлювали її горло. Відвернула ся до шафи і почала в ній ду-

же пильно шукати чогось між понавішуваними сукнями.

— Але-ж прошу паннунці! — скрикнула стара, не на жарт перелякавши ся сего вибуху, — що се паннунці Бог дав! Я мала би насміхати ся з паннунці за те, що паннунця в цісарській службі находитися? Я, що від десяти літ віку сама поневіряю ся по службах у найріжніших людей? Я мала би насміхати ся з паннунці, я, що так паннуцю люблю, як рідна маті? Най паннуця дадуть спокій і поглянути радше, що я для паннунці принесла!

— А що таке? — весело спитала Целя, забувши вже приkrість, якої дізнала перед хвилею.

Осипова видобула з за пазухи невеличку запечатану коверту, і не кажучи ані слова, з усміхом і загадковим морганем подала її Целіні. На коверті написане було тільки її ім'я і назва, та про те Целя знов запаленіла ся скинувши оком на адрес. Характер письма був ій відомий.

— А відки то Осипова дісталася те письмо?

— А се, прошу паннунці, дав мені знайомий експрес. Хотів іти до паннунці, але я йому кажу: дайте, я сама занесу!

Коли би Целя була пильнійше вдивила ся в лице старої жінки, то була би від разу до-

гадала ся, що Осипова збрехала. Але Целя вдивлювала ся в лист, що його держала в руці, очевидно вагуючи ся, що має з ним ізробити. Румянець на її лиці щез і воно поблідло, рожеві губи стисли ся і в очицях блисло щось ніби гнів, обурене чи нетерплячка. Сказала вкінці холодно і з досадою:

— Моя Осипова, прошу вас, ніколи не робіть мені того на будуще. Ніяких листів ані посилок до мене не приймайте. Хто що має до мене, нехай сам приходить, уже я буду знати, що йому відповісти.

Се сказавші відвернула ся і відійшла до вікна. Осипова добру ще хвилю стояла на місці і хитала головою. Бідна жінка не знала, що властиво думати про свою паннуницю: чи одержане листа було для неї приємне, чи не-приємне, і о що властиво паннуниці ходить.

— Ну, але прецінь лист узяла, не звернула мені! Се знак, що я ще нічого такого дуже злого не зробила, — проворкотіла сердешна бабуся і відійшла до кухні.

Але Целя стояла мовчки, одною рукою опираючись о раму вікна, а в другій держачи лист. Рука з листом тремтіла. В кінці рука піднесла ся і енергічно кинула лист на підлогу.

— Чого той дурень хоче від мене! — скрикнула з обуренем. — Причепив ся мовняка, лазить за мною як тінь, і ще мене ком-

промітує своїми дурацькими листами. От нещасте мое!

Груди її сильно хвилювали, очі блищають, гнів був справдішній. Але що хвилі Целя вспомікала ся, охолола з першої досади, підняла лист і розтала коверту ножицями. Виняла з нього лист, записаний від початку до кінця дрібними, немов судорожно в ріжні боки повикривлюваними буквами, і раз зирнувши на ті букви, на перший знак викрику, який їй у тексті кинувся в очі, вибухла голосним, сріблистим съміхом.

— Що за дурень! — сказала весело. — Навіть гнівати ся на нього серйозно не можна, хиба тільки съміяти ся. А ну, прочитаю сей лист замісто газети! Мусить бути забавний як і попередній.

І вигідно сівши на кріслі Целя розложила лист на столику і почала читати, від часу до часу перериваючи читання своїми замітками, немов би розмовляла і передразнювала ся з його автором.

„Третій раз уже осьмілюю ся писати до Вас, шановна Пані, хоч на два перші листи не одержав ніякої відповіді“.

— І не одержиш і на сей! Не надій ся!
— вперто мотнувши головою сказала Целя.

„По тяжкій боротьбі з собою я таки зважив ся ще раз наприкрити ся Вам. Важність

справи, для якої се чиню, нехай оправдає мою влізливість“.

— Важність справи? Що там за важна справа така? Ха, ха, ха! Очевидно та сама, що й у перших листах: Ви пані — ангел, Ви покорили мое серде, без Вас не можу жити, і так далі без кінця. Але-ж прошу шановного пана, се все мене нічогісінько не обходить. Я без вас можу жити. Я про вас і чути і не хочу. Ви повинні раз уже сего догадати ся з мо-го погляду, з кожної моєї міни! Та ба, якже тут бажати, щоб той пан чого будь догадав ся! — додала в поганим виразом погорди на устах.

„Обдумавши поважно своє положене і зібравши про Вас, Пані, деякі потрібні відо-
мости —“

— Чи бачите його! — скрикнула Целя,
— він про мене відомості збирає! Він шпі-
нить мою минувшину! Негідник!

— „я переконав ся, що зверхній вигляд не омилив мене, що полюбивши Вас від першого побаченя, я не змарнував свого чутя для осobi негідної того чутя. Я певнісінький, що коли-б Ви, Пані, згодили ся бути моєю, ми могли-б устроїти свое спільне житє гармонійно і щасливо, о скілько щастє було би залежне від нас самих. Мої средства, хоч скромні, вистарчали би нам як резерва на чорну годину,

а тимчасом ми заробляли би на хліб чесною працею“.

— Чи бач його! Як то він усе собі уложив! Не такий дурний, як видає ся! — шепнула Целя, і хмарка задуми зависла на її чолі.

Вона вже знала з попередніх листів того орігінального конкурента, знала, що його средства, про які він згадував, се одержаний у спадку по батькови фільварочок з 30 морга-ми землі, положений десь недалеко Львова і випущений в аренду. Знала, що сам конкурент займає ся газетарством, і треба признати, що се власне була одна з головних причин її антіпатії до нього. Вона так богато наслухала ся непідхлібних історій про львівських газетя-рів, про їх цинізм, вічні піятики, галабурди і т. і., що дрож пробігала її на думку — стати ся жінкою такого поганця. А при тім виглядав той конкурент зовсім не особливо. Целя, сама молода, здорова і вродлива, любила всюди красоту і грацію. А він хоч ще молодий, ходив згорблений і немов розломаний, мав лице широке, вистаючі вилиці, вид якийсь заляканий і непевний, блукаючий вираз очей, ніс розплющений і руде волосся. До того додати одіж звичайно стареньку і немов би не на нього шиту — от і портрет автора тих любов-них листів, тої „долі“, що трафляла ся панні Целіні.

— Се кандидат на Кульпарків! — мигнуло в душі у Целі, коли перший раз побачила його на пошті, як подавав лист. Вліплені в неї з виразом зацікавлення і подиву сиві очі дивогляда справляли їй якийсь неспокій і разом побуджували до съміху. Від того часу він почав частіше приходити на пошту, впинувати ся очима в кождий її рух і чатувати на вулиці, коли вона йшла на пошту або вертала до дому. Але ніколи він не осьмілювався промовити до неї. Ішов здалека, а як часом не міг обминути, щоб не зустрінути ся з нею лице в лиці, то кланявся украдком і втікав що духу, мов з яким краденим добром. По кількох місяцях таких німих зальотів написав до неї перший лист, несъмілій, надряпаний очевидно тремтячою рукою, незручний у стилізації, одним словом, съмішний-пресъмішний. Целя богато мала з нього потіхи, і хоч не знала назви свого німого адоратора, все таки вгадала від разу, що він, а автор листа, підписаний „Семіон Стоколоса“ — се одна і та сама особа. І через думку їй не прийшло відповідати на той лист. Через місяць надійшов другий лист, довжеязний, пристрасний і ще съмішнійшій в огністім виражуваню чутя. А отсей третій лист несподіваним способом був короткий і спокійний, так що Целя, яка ждала в ньому знов съжностіх зітхань і сотнарових заклинань та діфірамбів на свою красоту, бу-

ла трохи розчарована і задумала ся. Але задума та не тривала довго.

— Дурна ти, Целько! — скликнула вона сама до себе. — Все те нісенітниця, комедія! Коли він чесно думав, то чому не поступав так як чесні люди? Чому не прийде, не представить ся, не... Але що там, читаймо далі!

„Запитаете, Пані, напевно, чому для висловлення Вам сего всього вибираю таку не зовсім пригідну дорогу, відповідну радше для труса, ніж для мужчини?“

— Чи бач його? — скликнула Целя з усьміхом, — як угадав! І відвагу має назвати річ її іменем, навіть коли та річ дотикає його самого. Еге, відвагу має! — додала по хвили, — але знов тільки на папері! Ну, ну, що то він там далі пише?

„Я справді трус, не супроти небезпек і противності житя, бо з тими я боров ся від дитинства і то досить щасливо, але супроти тих, кого люблю. Бою ся зробити їм найменьшу прикрість, і через те нераз роблю її мимоволі, а се мучить і болить мене ще гірше, ніж їх самих. Чую, що бракує мені тої твердої підстави в поступуваню з людьми, яку дає товарицьке виховання і певність себе самого. Чую, що сама моя особа будить съміх і жаль, і се відбирава мені всяку съмлість, яку собі вирозумую. Тужно мені до людей, до приязни, любові, щастя — а чую, що здобути їх не можу

так, як здобувають тисячі інших. „Так що-ж, чи хочеш украсти їх, із за угла?“ — запитаєте Пані напевно.

— Чи сказив ся! — скликнула Целя з якимось переляком. — Точка в точку вгадав мою думку!

„Ні, дорога Пані (ага, „дорога!“ Вже знов починав! — шепнула Целя), я бажаю тілько вхопити одну ниточку, що веде до клубка, а потім ціле жите, всії свої сили присвятити на здобуване того, що іншим щасливійша доля дарує без труду. Нині Ви, Пані, знаєте мене тілько з непочесної поверховості. То-ж не прошу нічого більше, як лише одного: позовільте мені дати Вам близьше пізнання себе! Я не хотів би без Вашої волі чинити ніяких кроків у тім напрямі, щоб перед людьми, у котрих Ви живете, не наражувати Вас на насмішки, дотинки та неприємності. Знаю впрочім тих людей, хоч і з далека, і можу Вам тілько одно сказати: стережіться Пані зарівно батька, як і сина!“

— Ого, ось уже й жало гадюки! — шепнула Целя, прикусуючи блідніючі уста.

„Ta чого-ж я хочу? запитаєте Пані. Одного тілько: позовільте мені зблизити ся до Вас, дати Вам близьше пізнання себе! Дайте мені знак, що не маєте супротив мене ніякої антипатії, що зближене мое не зробить Вам ніякої прікрустти! Напишіть — — —

— Дурень! — скликнула Целя, тупаючи ногою і не дочитуючи письма. — Бреше він! Не любить він мене, коли може писати такі дурниці. Позволь йому зближувати ся до мене! Хиба я йому бороню? Але ба, тут саме й єсть хитрість, підла засідка. Наробить яких дурниць, осьмішить мене, а тоді скаже: самі Ви позволили мені! Ні, ні, не хочу й чути про нього! Дам йому до пізнання, щоб і на очі мені більше не показував ся. „Що не маєте супроти мене ніякої антипатії, що зближене мое не спровадить Вам ніякої прикrosti!“ Ну, відки-ж я се маю знати? Тьфу! Се якась безкровна слизь, якась галярета, не мужчина! Ну, малась би я з-пишина, як би дала йому руку! Той би мене замучив своїми чулостями й шідоzріннями! Всі жили би з мене вимотав! Ні, волю вже лишити ся тим, чим є, ніж вязати свою долю з таким непотрібом!

I Целя кинула лист нещасливого любовника на стіл, пройшла ся кілька разів по покою, щоб успокоїтись, а потім порвала лист разом з ковертою, подерла на дрібні шматочки і понесла до вікна, щоб викинути геть. Коли вихилила ся з вікна, то побачила, що на розі вулиці, насупротив вікна стояв автор листа з очима вліпленими в вікно. Поява Целі очевидно перепудила його, він кинув ся мов опечений і хотів утікати, але не міг відірвати очій від вікна. Сей вид видав ся Целі таким

комічним, що засьміяла ся на все горло. А потім сильним замахом руки викинула дрібні шматочки подергого листа. Посипались вони в низ, мов снігові платотки, крутячись і розлітаючи ся в різні боки. Кілька з них, пекрутивши ся та погулявши на хвилях легенького вітру, впало на капелюх Семіона Стоколоси, який усе ще, з переполошеним видом, блідий і ніби прикований до камяного тротоару, стояв на розі вулиці.

IV.



Прошу паннунці на сніданє! — сказала стара Осипова, підхилюючи двері сьвітлички. Целя стрепенула ся на її голос, але зараз же вспокоїлась, потрясла головою, а озирнувши ся в зеркалі і поправивши червону аксамітну стьонжечку, якою зgrabно перевязала поперек тім'я своє коротке волосе, пішла до ідальні.

Панство Темницькі сиділи вже при столі, а властиво сиділи оба панове, а стара Темницька наливала каву, раз у раз порушуючи зівялими губами, немов вела якісь ненастяні розговори, чутні тілько для її глухих вух, з якими-сь невидними сусідами. Впрочім при столі старенька відзвивала ся дуже рідко і сиділа вперши очі в якийсь один предмет, немовби не бачила іншого більше довкола. Целя дуже її жалувала, старала ся услугувати їй при столі, розмовляти з нею знаками. Але старень-

ка з разу чула себе якоюсь сконфуженою тими непривичними для неї обявами ченості і співчуття. Від давна привикла вона до того, що її найближі цілковито ігнорували її і вважали немов якимось бездушним предметом, то й не диво, що з разу навіть з підохрінем почала було поглядати на Целю, думаючи, що молода дівчина хоче здобути собі її ласку для якихось своїх цілій. Але переконавши ся, що Целіна зовсім далека від яких будь своєкорисних замислів, старенька помалу привикла до оказуваних їй ченостій і приймала їх якось апатично, нічим не показуючи, що вони спроявляють їй приємність. Але й ся апатія ні крихти не змінила поступування Целіни, теплого і сердечного, не ослабила її співчуття до нещасної старої жінки, при житю ще здеградованої між старе дрантє.

— А, ось і вона, наша маніпулянтка! — скликнув весело старий Темницький. — Витасмо паню. Як же там пані спало ся? Що там гарненького снило ся?

Тимчасом доктор устав мовчки з крісла, наблязив ся до неї і буркнув:

— Добрий день пані!

Целя звичайно подавала йому руку, яку він стискав по товариськи. Але сьогодні доктор уклонивши ся, прудко піdnіс її руку до уст і поцілував. Целя почула горячий дотик його уст і шарпнула руку як опарена, при

чім густий румянець залив її лице аж по вуха. А доктор, мов і зовсім нічого не бувало, спокійно обернув ся і сів на своїм місці.

Целя була до глубини забентежена, тож не сіла, але почала крутити ся коло пані Темницької, немов-би-то помагаючи їй щось при наливаню кави, а властиво стараючи ся заспокоїти свою неспокійну кров.

— Щож то панна еманципантка не ласкова навіть відповісти на привітання старого? — балакав дальше жартовливим тоном пан Темницький. — А правда, правда, старий повинен знати, що молоді панночки, а ще до того ті з нового, вченого, самостійного покоління мають свої окремі правила, свій окремий спосіб життя, і волять завсігди відповідати молодим паничкам, ніж старим паницям.

— Алеж таточку! — Целя перенесла той інтімний титул на пана Темницького зі свого покійного дідуся, — якаж із мене еманципантка!

— Ну, ну, ну, ніби-то ми старі вже такі дурні і нічого не розуміємо! Коротке волосечко, синенькі панчошечки, служба в канцелярії, самостійне життя... степ широкий, сьвіт отвертий... alleinstehende junge Dame, і там далі і там далі...

— А коли то таточко бачив у мене сині панчошки? — відповіла Целя, силкуючи ся повернути все в жарт, хоч із тону цілого сего

балаканя віяло на неї якоюсь душною і неприємною атмосфорою.

— Ха, ха, ха! — съміяв ся пан Темницький, коли тимчасом доктор похиливши ся над своєю філіжанкою, помалу, систематично пив каву. — Ха, ха, ха! Я певнісінький, що панна Целя і тепер має на собі сині панчошки! Що, не вгадав? Ану, нехай пані нас переконає, що се неправда! Прошу!

— Ай, ай, ай, який же то таточко сьогодні дотепний! — сказала іронічно Целя, киваючи головою і беручи ся до сніданя. Тимчасом пан Темницький уже скінчив свою каву, і обтерши собі уста і оперши ся ліктем о етіл, не зводив ока з Целі, стараючи ся підхопити кождий її рух, кождий позирк.

— Го, го, го! — балакав він невтомно, — панни савантки, обсервантки, маніпулянтки і еманципантки, нове поколінє, рівноуправнеє з мушчинами, жите на власну руку, здобуване будущини, а якже, а якже! Хто би вас близше не знов, той би вас замісто съвятих купив. Ale нас, старих горобців, на се не зловите. Вже ми що знаємо, те знаємо. Знаємо, що жінщина — все жінщина. Не один дурник думає собі: а, се новий тип, се жінщина самостійна, майстриня своєї долі, живе власною працею! А він і не знає, що тій майстрині зовсім чого іншого хоче ся. Все мода, тай годі! Була мода на криноліни, потім на пуфи, потім на

•

капелюшки з пташками, потім іа тюрнюри, — настала мода і на еманципацію, на рівно-управнене, здобуванє будущини власною працею. А то все — зовсім одна і та сама праця: і криноліни, і пуфи, і тюрнюри, і еманципація! Все має тілько одну мету — здобувати сердця мужчин, полювати на мужів, уловляти все-лenniu з вусами!

— Але прецінь таточко не заперечить, — заговорила звільна Целя, якій се балакане від-бирало всякий апетит, — але пан Темницький не дав їй скінчiti.

— Заперечу, дитя мое, всему заперечу, бо знаю, яке то в сьвіті по людях ходить. Нехай тілько паннунця вислухає слів старого! Старий на вітер не говорить.

— Алеж татку, — озвав ся доктор зму-джений також тим балаканем, — що се татко обібрав собі за тему до розмови!

Ніби то татко коли будь говорив про інші теми!

— Тема, мій сину, така добра, як і всяка інша. Бо то бачиш, які сьогодні часи пішли? Часи вистав, плякатів, реклами. Хто має який товар, яку особливість, яку цінну річ — зараз її на показ дає, в газетах інсерує, по вулицях афішує, на всі чотири роги сьвіта витрублює і вибубнює. Що, хиба неправда?

Доктор і Целя слухали тої інтродукції мовчки, не знаючи, до чого вона йде.

— А видите, что старий не брене! — сказал усміхаючи ся „таточко“. — Тож бо то й є, що не завадить часом послухати старого. Ну, а тепер прошу собі представити таку панночку, яку доля скривдила на маєтку. У неї здоровле, сяке-таке личко, брівки, очка, охота до життя і уживання, радо би те бідацтво і між людьй показати ся, а тут обставини на припоні держать, дома біднота та тіснота, до порядного товариства двері позамикані... Що робити? Те, що має ся цінного і гарного — личко, очка, брівки, волосечко, ручки (пан Темницький ви-числював все з якимось особливим притиском, моргаючи то в сторону Целі, то в сто-рону доктора і прижмурюючи очі мов кіт на сонці) — все се можна показати народови хиба раз на тиждень, у церкві. Сього за мало! І ось таке бідне сотворінє подає ся на практиканцю, телеграфістку, телефоністку — одним словом, дебудь на публичну службу, де би могло сидіти на видноці у всіх, ніби на виставі за склом. Хто хоче, може прийти і оглядати, може навіть попросити її встати і пройти ся. „Прошу пані, чи нема для мене листу poste restante?“ „На який адрес?“ „AZ4“. І наша еманципантка встас і йде до поліць з листами. А тут А — перша буква в азбуці, то й пере-скринок її стоїть у найвищій поліці. Отже бідне сотворінє бере крісло, приставляє, і з ці-лою урядовою повагою, а заразом з цілою ді-

вочою грацією вилазить на крісло, стас на пальчиках, і шукає, шукає, шукає в горішній полиці так довго, доки цікавий гість не оглянув докладно і ніжок і талійки і ручок і шийки і всього, о що йому ходило. „Ні, прошу пана, нема нічого!“ „Дякую пані і перепрашаю!“ А за хвилю другий так само питав, потім третій, четвертий, і так далі. Чиж то не живе? На щастя маємо ще державу, що навіть платить за подібну комедію. А я сьвято переконаний, що коли-б отворено два рази стілько посад в такім роді і коли би не тілько неплачено за службу, але вимагано ще вступної такси, то і в такім разі від кандидаток не було би віdboю.

— Чудесно нас пан відмалював, нема що казати! — скликнула Целя.

— А чи не правду говорю?

— Розуміє ся, що неправду! — з первовим притиском відмовила Целя.

— Що? — скрикнув Темницький, — пані съмісте казати, що неправду?

— А вжеж, що неправду! Аджеж пан на моїм власнім прикладі міг би переконати ся, що воно так не є. Аджеж пан сам признає, що мені зовсім не о те ходить, щоб афішувати ся, але щоб чесно заробити на кусник хліба.

— Ну, ну, панно Целіно, аджеж я не про вас говорив! — відказав старий, жартовливо прижмурюючи очі. — Аджеж ви у всім

виємок, у всім, у всім не подібні до інших; Хо-о-оч — те „о“ тягнув він якимось співучим голосом, перехиливши при тім голову на лівий бік, як співаючий канарок, — коли би так прийшлося признати съяту правду, то я скажав би, що й у вас воно не без закарлючки.

— Без якої закарлючки?

— Не думаю перед панею з усього толкувати ся, але що знаю, те знаю.

— Коли пан кидає на мене підозрінє, то повинен пан витолкувати ся, бо інакше мушу таке постуپування назвати... назвати...

Духу не стало їй у грудях. В очах пекло щось ніби здавлювані слози, що силоміць тисли ся бризнути. Але здержуvalа себе і заховувала спокійний вид, головно для того, бо чула вліплени в себе прошибаючі очі доктора.

— Прошу пані не називати ніяк, — скажав добродушно всеміхаючи ся пан Темницький. — Мене пані словами не заженете в вершу. Нехай пані радше скажуть нам, що то за панич стирчав тут сьогодня на вулиці перед нашими вікнами і що то за шматочки поперу кинули йому пані на голову?

Він сказав се з такою певністю і з таким супокоєм, що можна було думати, що знає далеко більше, ніж висловлює, і хапає тільки для прикладу перший ліпший факт, який йому насочив на память..

Целя поблідла при тих словах.

— Пане, — скрикнула встаючи з за стола, — таке питанє съвідчить про низький спосіб мислення.

— Алеж татку, як можете в подібний спосіб забувати ся! — поспішно докинув доктор, бачучи, що Целя поспішає до дверей.

Целя вийшла напруго, не оглядаючись, і впала лицем на подушку в своїй съвітличці. Збиралось ій на плач. Закид Темницького за надто був глупий і безпідставний, щоб мала ним справді образити ся. Боліли її тілько цинічні шпиганя в загалі на жінок, що шукають власного зарібку, та рівночасно тішило її потроха й те, що доктор у тім питаню станув ніби по її стороні. Сама не знала, чому сей, хоч і дуже слабенький вираз співчуття справив ій якусь полехкість. Успокоївши ся трохи встала і пішла на лекцію.

— Але татку, — сказав пе відході Цель доктор, закурюючи папіроса, — справді не розумію, що маю думати...

— Про що?

— Доси' вважав я тата чоловіком, який ніколи не забуває про форми товариської чесності.

— Ну, ну, ну, пан син починає моралізувати батька! — скрикнув Темницький, живо кидаючи ся на кріслі. — Нехай тілько пан син покине ту ролю, бо вона йому дуже не до лица!

— Ні, татку, — сказав доктор з непохитним супокоюм, — я справді не пізнаю вас. Тратите властивість над собою. Починаєте бачити те, чого нема. Мені ж не снилося моралізувати, але бачить ся, що сама делікатність вимагає, аби татко поводився з нею прилично.

— А коли я маю в тім свою ціль, аби власне так із нею поводитися?

— Свою ціль? — спрівока повторив доктор. — А то яку?

— Се вже моя річ. Я прецінь тебе не питаю ся, яку ти маєш ціль уslugуючи їй при обіді, потакуючи її словам, не зводячи з цеї очій і цілуючи її руки.

— Яку... я... маю... ціль? Що се таткови снить ся? Якуж таку ціль можу мати?

— Се мене не обходить. Май собі яку хочеш, але позовіль і мені мати свою. Впрочому хто знає — додав старий насъмішливо прижмурюючи очі і колишучи ся в кріслі — чи остаточно наші стежки не зійдуть ся до купи? Хто знає, чи те, що ти називаєш браком чесності, не буде найліпшим твоїм союзником?

Доктор з зачудуванем влішив зір у батька. Починав пізнавати його з такого боку, якого досі й не догадувався, з боку більш анімального ніж людського. Йовяльний усміх, що сьвітився на устах сего чоловіка, в його очах

приняв нараз якийсь поганий, цинічний відтінок, хоч подібний усъміх на устах інших людей не разив його зовсім. Але се був його батько! Вся та коротенька розмова зробила на нього дуже приkre вражінє, хоч і сам він не вмів собі докладно вияснити, що власне було в нїй такого прикргого. Про те хотів звернути річ на іншу тему.

— Але признаєш татко, що той концепт з чоловіком, який будім то стирчав під вікнами і з паперовими свистками киданими на нього був не дуже то щасливий.

— Концепт? Що се ти говориш! Аджеж се чистісінька правда! Сам я се бачив і не від сьогодні бачу того зітхаючого Адоніса. Ха, ха, ха! Як би ти побачив, що се за Адоніс! Чистий орангутан! А наша панна еманципантка, бачить ся, зовсім таки до иного прихильна.

— Ну, що се татко говорить! — скрикнув доктор диву даючись.

— Говорю, що знаю. Обсервую його й її. Переписують ся, видáють ся на вулиці, а може й ще дебудь. На певно не знаю, але маю підозрінє, маю певні вказівки і сліди... Одним словом, прошу пана доктора, не кожда tota весталька, що в довгій сунні ходить.

— Се стара річ, — сказав доктор, поборюючи своє забентежене. — Але знов я не пропускав...

— Доктор — і не припускав! — скривув пан Темницький. — Ха, ха, ха! Алеж пане докторе, припущене — се перший крок до правди! Чи як там ваша наука говорить, га?

Замісъ відповіди доктор подав батькови свою широку долоню. Оба ті чесні чоловічки порозуміли ся цілковито.

V.



Сонце пражило немилосерно. На південно-західнім краю небозводу висіла чорна як бовдур хмара так низько, що здавалося, немов ліве крило її зачеплене було на золоченім вістрю на вершку ратушевої вежі, мов величезна пошарпана хоругов. У повітрі пахло вохкістю. По вулицях повали бочки з водою скроплюючи кураву і торохотіли фіякри. Обернені до сонця вікна камениць позаслонювані були рулетами. На балконах недвижно стояли олеандри в деревляних шапликах. Нечисленні прохожі ліниво снували по тротоарах, тільки на невеличкім сквері в тіні дерев, довкола плюскотячого водограя бавила ся купа дітей під оком няньок.

Було три чверти на другу. Целя в літнім бронзовім пальто і в білім соломянім капелюсі з широкими крисами і червоно-жовтою кокардою на наголовачі спішила на почту. Хоч була спека, вона по привичці йшла прудко. Якесь

первове роздразненя видно було в її рухах. Лице її було похилене, уста стиснені і чоло раз за разом морщило ся від якихось понурих, невідступних думок.

Дійсно, по тій сцені, яка відбула ся між нею і Темницькими при сніданку, вона повзяла неаломний намір не показувати ся більше в їх їадальні. Немов би вгадуючи ту постанову доктор Темницький, зустрівши її, коли повертала з лекції з першого поверха, вийшов з нею до її съвітлички (щож, адже сього не могла йому заборонити!) і почав перепрошувати її за батькову нечесність. Треба вибачити старому його балаканю. Старість не радість, чоловік з літами мимоволі гіркіє і бачить усе в темніших колірах, особливо коли се діло нове, до якого він не привик і якого важності не розуміє. Рада не рада мусіла Целя признати йому правду, мусіла запевнити його, що не гніває ся; за те в заміну він запевнив, що батько вже більше не позволить собі ні на що подібне в її присутності.

Опісля почав доктор розпитувати її про її життя, про подробиці служби, надії на будуще, проявляючи супокійне, але просте і щире заінтересовання. Розмовляли так з пів години, вони сидячи на кріслі при великім столі, а вона край вікна. Двері, що від съвітлички виходили до кухні, були відчинені, так що видно було, як снувала коло печі Осипова.

Целя, якій зразу стріча з доктором була неприємна, швидко почула себе побідженою і вспокоєною супокійним тоном його розмови, повільними і статочними рухами, ширістюдалекою від усякої афектації і тим приязнім добродушем, з яким він оправдував перед нею нетактовний поступок батька, або з яким усміхався слухаючи її мрій про будуще житє яко стара панна почтмайстриня десь у самотнім домику в глухім провінціальнім місточку.

Тепер могла йому ліпше придивитися. Не був зовсім такий суворий і страшний, яким їй видався в першій хвилі. В його очах не миготіли ті зловіщі искорки, що так бентежили й мучили її доси. Був зовсім супокійний, простий, натуральний, а почутє власної сили і певності себе додавало йому в її очах якоєсь надзвичайної принади. Мимоволі насувалась їй думка:

— От як би то могти мандрувати мандрівку житя, опираючи ся на сильне рамя такого чоловіка!

Але се бажанє далеке було від чутливого забарвленя, що могло би закаламутити супокійну течію їх розмови. Се був вивід чисто льогічний, теоретичний, який не зачіпляв її сердця і не бентежив крові. Вона знала, ще то річ неможлива, і не робила собі ніяких іллюзій.

А прецінь обід, на який вона пішла до спільній ідалнії на перекір своїй ранішній по-

станові, знов роздразнив і рознерував її в високій мірі. Правда, старий Темницький сим разом мовчав, а говорив тілько доктор. Розуміється також, що розмова мала зовсім інший характер, ніж попередні, але власне для того вдарила її зовсім з іншого, несподіваного боку, і тим сильніше вражіння зробила на неї.

Ні відси ні відти розпочав доктор річ про свою наречену. Показав Целі пару її листів писаних по німецьки, відчитав навіть децço з їх тексту і просив її поради. Бо то женини і женинах усе ліпше розуміють ся, ніж мужчини, а отсі листи по його думці вказують на цілковиту неагідність їх характерів, а у його нареченої на недостачу любові до нього і навіть недостачу простої делікатності, поверховий спосіб мисленя, егоізм і інші подібні злі прикмети. Бідна Целя пріла при тій розмові, бо тексту листів, писаних у значній частині віденським діялектом, не могла добре зрозуміти, а ті уривки, які зрозуміла, видались їй дуже банальними і нічого не значучими. Приглядала ся тілько характерови письма, але й він був невиразний, не то жіночий, не то мужеський. Тож очевидна річ, що ніякого свого суду про ті листи й їх авторку не могла висловити. Зрештою доктор не дуже й налягав на се. Бачило ся, що ті листи були для нього тілько притокою для висловленя перед Целіною своїх поглядів на любов і на родинне житє. Гармонія

характерів, темпераментів, симпатій, ось що головна річ. Про маєток йому байдуже, маєток він має в голові й руках. Волить розірвати ті вузли, в які й так його майже без його волі вплутано. На ухо признав ся Целі, що його наречена молодша від нього тільки двома роками, а для панночки се вік дуже вже поважний. Впрочім разить його у його нареченої брак усякої думки про житє, його задачі й обовязки. Женщина, яка ні про що не думає крім строїв і розривок, яка не здужає стояти сама на власних ногах, жити в разі потреби власним промислом і власною працею, така жінка в наших часах і в родиннім житію не сповнить свого призначення. Бо яке-ж вона виховане зуміє дати своїм дітям? Яким способом зможе піддержати мужа в хвилях сумніву і занесиля? А маєток хоч би й найбільший нікого не забезпечить ані від сумнівів, гризот і занесиля, ані навіть від матеріальної нужди.

Слова плили у доктора гладко, плавно, мов журкотачий потік, а кожде слово з дивним якимось нагоном влучало в груди бідої дівчини. Що се таке було в них, що так бентежило і трівожило її, але заразом прошибало якоюсь радісною дрожлю? Адже ж нічого тут не говорено під її адресом, а особа, що дала причину до тих звірювань, була їй зовсім чужа і незнайома!...

Правда, доктор висловляв ясно і докладно богато таких думок, до яких і вона сама дійшла дорогою досьвіду і власної мізкової праці, але чому-ж то ті думки, висловлювані його устами, були в її очах такі нові, принадній цінні, вилітали перед її розумовим зором мов яркі, огністі ракети? Кілька разів доктор немов ненавмисно діткнув — що правда, дуже делікатно — таких річей, які частенько бували предметом її таємних mrій і тихих, майже несъвідомих бажань, — і при кождім такім натяку Целя чула немов дотик павутини, чула, як якась електрична іскра пробігала по цілім її тілі.

Тим то й не диво, що через увесь час обіду під впливом тих докторських розмов і признань Целя сиділа мов причарована, раз паленіючи, то знов бліdnіючи, і тілько часом, з очевидним зусилем, для членості здобувала ся на якесь слово. Іла мало, а за те випила кілька склянок води, толкуючи ся спекою. Говорячи, доктор не глядів на неї, як коли бі знав, що вираз його очей чинить на неї пригнобляюче враження. Але власне те, що не дивив ся на неї, додавало його словам більше сили й суцільності. Не вважаючи на незворушний спокій і суху на вид теоретичність докторського дискурсу Целя кілька разів вибухала съміхом при його словах, а раз при якійсь зовсім загальній фразі почула, що її очі почина-

нають підбігати слізми — і швидко відвернула ся в інший бік.

— Тьфу, то якийсь чорт у людській подобі! — шепнула Целя стрепенувшись уся, коли вибігла на вулицю і почула ся нарешті свободною від магнетичного впливу тої розмови. Бігла швидко, прямуючи до почати, хоч мала часу ще чверть години. Розбурхані хвилі чутя, бажань і ідей, що клекотіли в її нутрі, домугалися живого фізичного руху для привернення рівноваги. Але ті розбурхані хвилі не чинили їй сим разом жадної прикрости — навпаки. Бачилося їй, що бродить посеред непрозорих туманів теплої і рожево забарвленої мли, серед якої треба було віддихати глибоко, повними грудьми, і що перебродивши її побачить зараз якісь нові, широкі і чудово прекрасні горизонти, про які тепер не має ще ніякого поняття.

Дорогою силкувала ся впорядкувати свої думки, зупинити їх на чімось однім, виразнім і близькім, і дивним способом вони зупинилися на нареченні доктора Темницького. І то так якось мимоволі, немов би ся наречена сама виплила з посеред тої рожевої мли. Целя так і бачила її духовими очима — стару, погану Німкіню, зrudим волосем і вилинялими, глупими очима, суху і нестерпно горду на свої маєтки. Бачила, як вона своїми кістлявими руками обіймає доктора за шию, як впиває ся

в його уста своїми широкими, безкровними губами, чула навіть її голос, повний пересадних пестощів, а притім немилосерно пискливий : „Mein Liebehh !“ І Целі зробило ся чогось дуже жаль. Не жаль їй було спеціально доктора, бо що він для неї ? Але жаль тої суми живих сил, розуму, супокою і щастя, що мусіла бути змарнована через се подруже. І по що ? в якій цілі ? Що йому з її маєтку, якого він не потрібувє ? І що власне винен йому рідний край, що для такого „щастя“ хоче його покинути ? Ні, таке подруже з боку доктора було бі безумством, гріхом і съвідоцтвом про брак патріотизму !

Так роздумуючи Целя й не спостерегла ся, коли була вже близько початкового будинка. Аж на скруті вулиці, що вела до почати, вона машинально зупинила ся. Від швидкого ходу в грудях їй захопило, чоло покрило ся потом. Мусіла спочити, і мимоволі очі її зупинили ся на афішах, якими обліплений був наріжник камениці. Сіра стіна, покрита ріжнобарвними шматами паперу, наклиюваними день у день, здираними безладно, виглядала як паяц. А прецінь кількож то глибоких драм скривали в собі нераз ті сорокаті паперові лахмани ! Кілько праці, сліз і гризоти невидимо плило по за ними ! Ось довгий а вузкий, огнисто червоний пояс, здається ся, викрикає на все горло : „Горівка потаніла ! Де ? у Вільгельма Адама !“ А там

знов у кутку майже під ринвою скромно ту-
лить ся надряпане на чвертці паперу невправ-
ною жіночою рукою: „*Stancia kontem zaraz do
wynajencia*“. І думка Целії, втомлена довгою
мандрівкою в однім напрямі, зі свіжою силою
летить кудись инде, на вбоге піддаше або в тем-
ні сутерени, де якась бідна прачка або послу-
гачка щоденnoю важкою працею здобуває собі
кусник чорного хліба, мусить числiti ся з ко-
ждою латочкою, а тепер нараз за приходом
горячої пори, коли панство починає роз'їжд-
жати ся на ферії або до купелів, бачить недобо-
ри в своїм бюджеті і бажає надолужити бо-
лючу страту бодай жертвою з власного спо-
кою і власної вигоди, винаняти половину своєї
малої, тихої комірчини, і з дрожлю непевності,
з молитвою на устах чекає день по дневі,
„кого ій пан Біг пришеle“.

Але нараз думка Целії урвала ся, завмерла, мов знесилена морозом пташина паде серед лету. Її широко отворені очі недвижно зупинилися на посмертнім афішу, що, бачилось, скакав перед нею своїми грубими, чорними літерами, яким тісно і невигідно було в широкій, чорній обвідці! На полуутворених устах Целіни завмер оклик здивовання і перестраху.

„Ольга Невірська, п. к. почтова маніпулянтка, по короткій але тяжкій недузії вмерла сьогодня рано в двадцятій весні життя. Погріб відбуде ся 14. с. м. Безутішна в жалю мати

запрошує всіх кревних і знайомих на сей сумний обряд“.

Целя вже другий і третій раз перечитувала ті слова, що мов градові зерна падали в її серце, не вяжучи ся в ийаку живу цілість, у ніяке ясне почує. Ольга Невірська, її найліпша приятелька, по короткій але тяжкій недузі... що се значить ся? Аджеж Ольга позавчора ще була в службі, здоровісінька, хоч сумна і задумана як звичайно! Коли Целя прийшла, щоб переняти від неї свою чергову службу, Ольга кинулась їй на шию і почала цілувати її, сьміючи ся голосно. А коли Целя запитала її, чого так тішить ся, відповіла, що дісталася від дирекції відпустку і виїде на село на цілі дві неділі. „Ах, яка я... буду... щаслива! А ти, бідна Целінко, лишиш ся тут! Навідуй ся часом до моєї мами, добре?“ І слізозакрутили ся в її прегарних оченятах, і знов почала стискати і цілувати Целіну, аж пані Грозицька острим тоном упімнула їх обі, що тут урядове бюро а не пансіонат. То було ще позавчора в полуднє — а сьогодня! Сьогодня Ольга вмерла!

— Боже коханий! Що се їй стало ся? Що се може значити? — скрикнула Целя, і немов не довіряючи власним очам усе ще вдивлювала ся в афіш. Але афіш не давав ніякої відповіди на її питання, і своєю мертвою,

трупячою фізіономією повторяв усе одно й те саме.

— „Безутішна в жалю мати“ — в нестягі повторяла Целя, все ще не можучи дійти до ладу зі своїми думками. -- Бідна мати! Що вона тепер почне!..

І в її уяві мов жива стала Ольжина мати, добродушна, надзвичайно рухлива і привітлива бабуся з приемними обрисами лиця, на якім заховалися ще сліди колишньої красоти, а довгий вік виписав съвідоцтво працьового, для інших присвяченого життя, не закаламученого ніколи ніякими сумнівами, внутрішнім роздвоєнням ані гризотою сумління. Не вважаючи на зморшки і сиве волосє, лице тої бабусі завсігди додавало Целі якоїсь відради, съвіжості і сили, кілька разів відвідуючи Ольгу мала нагоду пробути кілька годин у її товаристві.

— Побігти-б до неї! Потішити стареньку, розпитати, що таке сталося! — мигнула думка в Целиній голові, і вона випростувася і піднесла чоло, як коли би почуте товариського і чисто людського обовязку від разу подвоїло її сили і зробило лад у її розбурханім нутрі.

В тій хвилі з ратуша залунав голос дзвона, що власне бив другу годину.

— Мій Боже! Не час уже! Служба проволоки не терпить! — в розпуці скрикнула Целя і поспішним кроком подалася до почти,

боячись, щоб і так уже не зустріли її понурі погляди і закиди пунктуальної як машина пані Грозицької, яка певно вже добрих десять мінут сидить коло своєго бюрка.

— От нещастє! — — повторяла Целя цілу дорогу. — Бідна, бідна Ольга! Нещасна мати! І що там таке стало ся? Аджеж Ольга була здорова, хоч останніми часами дуже якось помарніла. Боже мій, Боже, ось яке то воно наше жите!

І поспішним кроком війшла в браму поштового будинка, а потім звернула зараз на ліво до канцелярії, де надавано рекомендовані листи і відбирали листи poste restante. При сих останніх була її служба.



VI.

Лані Грозицька справді сиділа вже на своїм місці і з звичайним своїм понурим видом приймала рекомендовані листи. Була то жінка поверх 45 літ, з сивіючим уже волосем, з подовгастим і жовтим мов пергамін лицем, з поглинялими очима і тонкими безкровними губами. Була вдовою по якімсь збанкрутованім купці; зі свого скунського поштового зарібку мусіла виховувати троє дрібних дітей. Тим то й не диво, що вгинала ся під тягаром гризоти і праці не стілько бюрової, скілько домашньої, і що той тягар вигасив у її серці всяку іскру веселості і радісного погляду на світ. Пуктуальна в сповнюваню своїх обовязків, які не вважаючи на всю свою ваготу були для неї майже одинокою дошкою ратунку по розтрощенню її житевого корабля, була вона також не менше строгою і ригористичною супроти інших. Працюючи під її холодним, чисто бю-

рократичним оком, чула Целя подвійно тягар і одвічальність своєї служби. Хоч пані Грозицька, не вважаючи на повних десять літ просиджених уже на тім кріслі при бюрі рекомендованих листів, не була ще нічим більше, як тільки також маніпулянтою і на жадну висшу рану не мала надії, не хотячи рушати ся зі Львова на провінцію, то все таки силою свого старшого віку і давнішої служби займала в бюрі певне начальне становище. Роблячи що до неї належало, вона про те знала і бачила все, що робили інші в бюрі. Найменше занедбане товаришки, невиний жарт, трохи голосніший усміх або живіший рух — все те стрічало її докірливий погляд або нагану. Була немов би сумлінє бюра, холодна і неліцеприятна душа тої машини, що звільна і систематично висисала молодість, жвавість і свіжість працюючих у ній женщин.

Сьогодня однак пані Грозицька не вважаючи на свій звичайний понурій погляд не картила Целю за хвилеве опізнене, а навіть користаючи з того, що ніхто з листами не приходив до бюра, розпочала з Целею розмову, заким та вешла роздягнути ся з пальта і капелюха.

— А чули вже пані про нещасну Ольгу?

— Боже мій! — скрикнула Целя, — що се таке з нею стало ся? Власне тілько я побачила афіш на мурі, що вона вмерла.

— Так, значить, пані ще нічого більше не чули?

— Нічогісінько! Швидше-б я була надіяла ся грому з ясного неба.

— А я се вже давно знала, що тота дівчина недобре скінчить, — сказала пані Гроziцька киваючи головою.

— Пані знали? Моя золота пані, що пані знали? — скривнула Целя і не знати для чого тримтіла всім тілом.

— Прошу пані, їй зовсім що інше в голові було, не служба. Все, що тільки зробила, треба було за нею переглядати і поправляти. Очевидно робила зовсім про що інше думачи. Покарав її Бог за мої нічні години, що я просиділа, контролюючи та поправляючи її помилки.

Мороз пройшов у Целі по за плечима при тих словах. Ся невмоляма службистість навіть перед лицем смерти мала в собі щось нежіночого, навіть нелюдського, а про те була зовсім зрозумілою. Служба почтова більше може ніж яка будь інша крім зелізничої вимагає строгої пунктуальності і уваги, зверненої на кожду найменьшу дрібницю, а при тім як найбільшого поспіху. Одно колісце, що обертається менше регулярно, менше докладно і повільніше ніж інші, псув гармонію цілої машини. Праця тут збирна, тож помилки одиниць стають ся помилками цілого бюра. Відсі к-

нечість ненастancoї обопільної контролі, ненастancoго уважного слідженя не тілько за власною часткою роботи, але за всім тим, що загалом робить ся в бюрі.

Целя замовкла і сквално почала роздягати ся, ховаючи пальто і капелюх у скарбовій шафі, умисно зладженій для дам. Відтак мовчки сїла при своїм бюрку, в настрою подвійно пригнобленім — раз несподіваною новиною про смерть приятельки, а по друге за кидом пані Грозицької, киненім на її съвіжу могилу. Бюрко завалене було цілою купою листів *poste restante*, які Целя повинна була як найшвидше розсортувати — окремо звичайні, а окремо рекомендовані, а відтак упорядкувати поазбучно і поукладати в осібних перескрянках шафи. Не менше також треба було вважати на окремі полички постійних абонентів, які платять певну суму річно за те, щоб у почтовій експедиції мати окреме місце для листів і посилок, що надходять на їх адрес.

Отся робота, утяжлива і скомплікована задля формалістики і ріжних дрібниць, на які треба вважати, зовсім не така маловажна, як би се могло здавати ся. Сортуючи листи Целя пригадала собі факт із перших тижнів своєї бюрової служби. В поспіху і замішанині вона кинула була один лист *poste restante*, значений буквами A. Z., замісь до скринки A — в противний кут шафи, до скринки Z. Того самого

дня приходить якийсь молодий чоловік і питає про лист А. Z. Переглянувши всі листи в скринці А, Целя відповіла, що такого листу нема. На другий день приходить той самий молодий чоловік з лицем затрівоженим і змученим і знов питає про лист під тим же адресом. Листу нема. Молодий чоловік став мов оставпілій коло решітки і не рушався з місця.

— Прошу пані ще раз придивитися, — сказав він тремтячим але покірним голосом. — Такий лист повинен бути.

Целя ще раз переглянула скринку, листу А. Z. не було.

— Може прийде з найближшою експедицією, — сказала на хибив трафів, хотачи позабути ся впертого.

— А коли-ж приходить найближша експедиція? — запитав той.

— За годину.

— За годину? Добре, прийду за годину.

І відвернувшись ся він стояв іще хвилю мов оставпілій шепчуучи:

— То не може бути! То не може бути, щоб навіть не відписав! Ще годину перечекаю.

І вийшов, не перестаючи розмовляти з собою. Пунктуально за годину вернув. Лице його, худе і пожовкле, за сю годину майже позеленіло. Видно було, що сю годину він страшенно перемучив ся. Мовчки став коло деревляної решітки, вліпивши свої велики, невимовно

сумовиті очі в Целінине лице, немов би від неї чекав осуду, що мав рішити, чи жити йому чи не жити.

— Прошу пана, листу під адресом A. Z. нема, — сказала Целя з урядовою повагою.

— Нема! — скривнув молодий чоловік голосом повним розпуки. — Чи направду нема?

— Щож то я буду пана ошукувати? — буркнула йому з досадою Целя.

— Нехай пані не гнівають ся, — сказав молодий чоловік благаючим голосом. — Я маю відомість, що лист мусить бути. А той лист для мене дуже важній. Лист той, прошу пані, рішав про цілу мою будущину, про мое житє... або смерть.

— Щож я на те пану пораджу, коли того листу нема!

Молодий чоловік поблід іще дужше і стояв на місці, міцно притиснувши чоло до деревляної решітки. В тій хвилі пані Грозицька не зважаючи на натовп праці встала зі свого крісла, підійшла до Целі і шепнула їй:

— А нехай но пані загляне до скринки Z.

Целя видивила ся на неї напів з зачудуванням, навів з відтінком закиду, але проте мовчки, з досадою вихопила всі листи зложені в скринці Z. Перший, що впав їй у очі, був лист під адресом A. Z., наданий у Підволочисках, так як казав молодий чоловік, значить, без найменшого сумніву той самий, про який

він так нетерпливо допитував ся. Целя поблідла і ледво чутним голосом сказала:

— Є лист для пана.

— Є? — скрикнув молодий чоловік коло решітки, і в тій хвилі впав на землю зомлілій, мов неживий.

Целя до смерти не забуде того довгого-довгого погляду, яким окинув її молодий чоловік, коли його оббрязкали водою і він прийшовши до себе підняв ся на ноги, — не забуде й тих слів, які він прошептав своїми безкровними устами!

— Дякуйте, пані, Богу і отсій пані! — прошептав він. — Ви могли сьогодні стати ся убійцею!

Який глибокий жаль, сердечний докір і заразом яка радісна надія виражали ся в його очах, голос її цілій подобі, коли він держачи в руці фатальний лист, усе ще нетвердим кроком виходив із бюра! Целя, зворушенна до глубини, визирнула за ним у вікно. Він ішов звільна, хиткими кроками, мов пяній або приголомшений важким ударом, і все ще не осьмілював ся розпечатати лист. В кінці щез на скруті вулиці. Від того часу Целя ніколи вже більше не бачила його ані не могла довідати ся про зміст того листу. Та все таки була се перша і дуже досадна лекція терпливості і старанності в дрібницях, яку дала їй почтова служба.

Сьогодні мимоволі пригадалась їй ся пригода при сортованю листів, а то головно під впливом закидів пані Гроцицької против її помершої приятельки. Целя чула, що ті закиди по частині трафляють і її саму, і працювала з подвоєним завзятем, наморщивши чоло так само, як і памі Гроцицька. Кілька разів переривали її роботу сторони, що зголошувалися за листами. Обслугувала їх мовчки, поспішно і терпливо, і зараз же сідала знов коло свого бюрка.

Нараз під руки її попав ся лист адресований на її ім'я. Перервав він її монотонне заняття, здивував її моментально і видав ся ю чимось похожим на той камінець, який злослива рука вложить між зуби або в кляпу машини, щоб на хвилю загальмувати її рух або посунувати його правильність. Але коли другий раз уважніше глянула на нього, перевонала ся, що адрес писаний був рукою Стоколоси. Осталася спокійною, майже зовсім байдужою. Відложила лист на бік, а сама кінчила сортоване і розміщуване листів по відповідним перескрянкам великої експедиційної шафи.

Нараз пані Гроцицька, користаючи з хвилевого браку публіки в бюрі, знов перервала мовчанку, не перестаючи однаке працювати, похилена над великою надавчою книгою.

— I уявіть собі, пані, панна Ольга отруїла ся!

— Що? Отруїла ся? — скрикнула Целя перелякана. — Що пані мовить? То не може бути!

— А прецінь правда. Оповідав мені офіціял Вимазаль, що живе тут же поруч із ними. Сьогодні досьвіта, десь так коло четвертої години, почула мати в Ольжиній комірці якісь зойки і стогнання. Схопила ся з постелі, засьвітила, прибігає до дочки, а дочка ве ся на ліжку з болю. Питає ся її: „Що тобі, Олечко?“ — „Нічого, мамо!“ — „А чого ж кричиш? Може болить що у тебе?“ — „Ні, мамо“. — А тут аж зуби закусує, щоб не кричати, аж посиніла! А тут щось нею аж кидає судорожно, пальці мнуть і крутять подушку, піна з рота виступає... „Бій ся Бога, Олечко, — кричить мати, — що тобі таке? Може по лікаря післати?“ — „Ні, мамо, не треба, йдіть спати, се міне!“ Але мати вже її не слухала. Зараз розбудила пана Вимазаля, що живе тут же коло них, і послала його по доктора. Та поки сей знайшов лікаря, поки привів його на місце, минула добра година. Ратунок був уже за пізний, а поки минула ще одна година, Ольга сконала.

Целя слухала тих слів потрясена, приголомщена.

— Алеж бійте ся Бога, пані моя, — скрикнула вона, — чи на правду отроїла ся?

— Нема найменшого сумніву. Лікар пізував се за першим оглядом. А тільки не міг дійти, що се за отрута; ріжні антідоти, які їй задавав, не помагали. Здає ся впрочім, що захила отруту ще десь коло півночи і кілька годин мучила ся мовчки, щоб не збудити матері. Аж коли наслідки появили ся цілковито і ратунок був майже неможливий...

— Мій Боже! Мій Боже! — скрикувала Целя ломаючи руки. — Алеж то страшенно! Бідна Оля! Але щож могло попхнути її до такого розпучного кроку?

— Лехкомисність, прошу пані — суворо і рішучо відповіла пані Грозицька.

Целя видивила ся на неї питуючим поглядом.

— Зараз по її смерти — говорила дальше пані Грозицька притишуючи трохи голос — лікар сконстатував, що смерть узяла не одну жертву, але дві.

— О Боже! — скривнула Целя.

— Так, так! А пан Вимазаль яко іх сусід від давна знов про зносини Ольги з якимось академіком, що мабуть мав з нею женитися, але перед пів роком подав ся на судову службу до Боснії. Здає ся, що тут і треба шукати ключа до цілої сеї історії.

Целя сиділа мов нежива. Пробудило її з остоціння аж питанє якоїсь панночки, ніби швачки, ніби панни склепової:

— Прошу пані, чи нема для мене листу під адресом „Кароліна Пташок“?

Целя машинально винайшла лист адресований мужеською, невправною рукою, подала його врадуваній панночці і знов сіла, силкуючись упорядкувати свої думки. Але пані Гроziцька не вистріляла ще всього засобу своїх набоїв.

— І представте собі, пані, зараз на донесене лікаря прибула комісія судово-лікарська. Трупа взяли до трупарні, де сьогодня мусять його секціонувати, а суд зарядив слідство, відки і яку мала вона отруту. І щож показало ся? Бідачка властиво не хотіла відбирати собі житя. Хотіла тільки, знаєте пані — тут пані Гроziцька підійшла до Целі і шепнула їй до вуха кілька слів, від яких лицез Целі облило ся в першій хвилі ярким румянцем, а за хвилю поблідо як полотно — бо бояла ся стратити службу на пошті і зашкодити іншим женщинам, що остають у публичній службі. Ну, що ви на се скажете! Так дословнісінько вона й написала на карточці, коли мати десь на хвилю відвернула ся, на кілька мінут перед приходом доктора. Щож робить? Вишукала собі десь якусь бабу з гір, яка обіцялась їй за кілька ринських зварити якогось зілля, що мало зарадити всьому лихови. Отже не знати, чи та баба кепського зілля наварила, чи може бідна Ольга зажила його більше ніж

було потрібно, досить, що замісь затерти сліди своєї легкомисності, сама через неї наложила головою.

— Страшно! Страшно подумати! — шептала Целя, а її жива уява підхоплювала кожде слово Грозицької і перетворювала його на живі картини, страшенно виразні і плястичні. Вона бачила Ольгу, яка крім своїх прегарних очей зовсім не визначала ся вродою, на тасмних сходинах з улюбленим; уявляла собі, як спонукана своїм горячим темпераментом і його пестощами та намовами вона хвилю тратить з очий границю, через яку обовязковий супільний порядок не позволяє переходити безкарно... Але найживійше, аж до почутия фізичного болю вона уявляла собі її муки, коли розбилася надія на скору направу зробленої похибки, коли улюблений зрадив її, а рівночасно звільна але з неохідною певністю заповідали ся наслідки хвилевого забуття. Тепер тільки почала Целя розуміти цілій душевний стан своєї приятельки в останніх часах, її вічну задуму і смуток тої невгомонної вперед щебетушки, часті і наглі зміни в її гуморі, незрозумілу дразливість, безпричинові скоки від съміху до сліз або напади дивної якої мрійності, якої у неї давнійше не бувало. Сльози силоміць тисли ся до очей Целі і дусили її в горлі, коли нагадала, як часто Ольга, особливо в остатні дні, засівши з нею десь у кутинку, шептом, швидко,

з перериваним віддихом малювала перед нею щастє материнства, якого не зазнала і яке пристроювала в найчудовнійші квіти своєї уяви. „Ах Боже! — говорила вона, — мати таке маленьке-маленьке дитяточко, знати, що воно мое, могти його пестити і тулити до себе, — що за щастє! Неба не хочу, тілько один день такого щастя! Бачити, як воно манюсіньке тріпоче ся, як простягає до тебе пухкенькі, круглененькі рученята, як усміхає ся рожевими усточками, як приляже до твоєї груди всім своїм дрібненьким еством — і чути, що воно твое, частина тебе самої — ох, Целінко! тілько день, тілько годину такого щастя, а потім я готова вмерти в найстрашнійших муках!“ І акаж страшена муга, яке цекло мусіло клубити ся в душі тої нещасної, коли так чуючи і так думаючи, зважила ся піdnяти руку на ту живу істоту у власному лоні!

Целя скопила ся і почала живо ходити по бюрі, силувала ся прогнати від себе ті жахом проймаючі картини, що вгризали ся в її мозок і морозили кров у жилах. Але розгорячкова на уява не хотіла втишити ся, висновувала щораз нові картини, брала їх під мікроскоп і ставила перед очима Целі з невмолимою плястикою. Ціла скаля могучих і болючих зворушень, від першого кроку вчиненого в цілі відшукання фатальної баби аж до зажиття отрути, ціла та страшена драма, повна внутрішньої

боротьби, уніжень, тривог, розпуки і поривів безконечної чулости стала їй перед очима. А прецінь же та дівчина, яку формалістичні і бюрократичні душі назвуть упавшою і лехкодушною, в часі, коли йшла та страшена боротьба в її нутрі, могла працювати в бюрі зі спокійним видом, могла чимно і терпливо обслугувати публіку, вдавати з себе веселу посеред веселих товаришок і ані словом перед ніким на сьвіті не зрадити себе зі своєю мукою! Що більше, власне для того, щоб своїм упадком не скомпромітувати товаришок, вона відважила ся на злочин. Целя почула правдивий перестрах перед тихим геройством тої дівчини. Її похибка, яку вона хотіла направити злочином, ціле те фатальне колесо від першого зла, що тягне за собою слідуючі, поки не пожре всеї душі, всеї істоти людської — цілий той омут щез із перед очій Целі. В каламутних його хвилях вона бачила тілько одно — нещасну жертву, з серцем прободеним сінома мечами, бачила велику любов і ще більше терпіння, за яке прощають ся і найтяжчі провини.

І ясно стали перед її очима всі моменти остатнього акту страшної драми. Все повинно було відбути ся тихо-тихо, щоб ніхто, а особливо улюблена мати її про що не знала. Під погрозою страхів на пів дійсних, а на пів фантастичних, роздутих уявою до величенських

розмірів нещаслива дівчина випила приписану порцію відвару. Може бути, що сільська лікарка дала їй кілька порцій і казала пити в значніших відступах часу. Але коли в організмі почула перші наслідки відвару, коли перед її очима живо стала ціла велич, ціла люта неприродність сповненого злочину, коли подумала, що всі її надії на материнську роскіш в тій хвилі погибли безповоротно, а з ними разом погиб на віки її супок і її сумління і всяка можність правдивої радості і щасливого життя — тоді нараз захмарив ся весь горизонт її ума, обхопила її бездонна пітьма і розпуха, і в її припливі нещасна одним духом випила весь відвар, воліючи від разу скінчити все.

— Страшно! Страшно подумати! — шептала Целя спеченими устами. В голові її мішало ся. Чула якийсь нестерпний тягар на серці, що давив і дусив її. Аж слози, які по хвили полили ся рясно, принесли їй полекшу. На щасті була се година, коли до бюра найменьше приходило публіки. Целя сіла в куточку за дверима і тихо плакала, час від часу тільки обтираючи слози і виходячи зі своєї криївки, щоб обслужити нетерпливих гостей, що тупотіли ногами край решітки.

В слузах розплівались острі стріли болю, лекшим робив ся тягар, що придавлював її груди. Почувала тільки велике милосердя для

всіх страждущих навіть задля власної провини, глибокий жаль над загальним горем людського життя. Постановила собі як найчастійше відвідувати і потішати горем прибиту Ольжину матір. І що найдивнійше, в її чистій дівочій уяві образ приятелька, упавшої і зганьбленої, зовсім через те не змалів і не заплямив ся. Навпаки, Целя почувала для неї незвичайну ніжність і пошану, як для мучениці.



VII.

 щож таке всі мої дрібні, дитинячі терпіння, знеохоти і розчаровання в порівнанню до сеї страшенної трагедії! — подумала Целя обтираючи слізози і знов засідаючи до свого бюрка, куди кликала її нова купа листів прищесених із головної поштової експедиції. Вона кинула ся до праці, щоб заспокоїти себе по дізнаннях зворушеннях. Аж коли скінчила сю працю, кинула оком на лист Стоколоси, що лежав тут же під її рукою і доси не був розпечатаний. Сим разом одначе її душа, потрясена до глибини, далека була від усіх насъмішок і погорди. Серце її повне було співчуття навіть для горя того бідного, упослідженого (як їй здавалося) безумця. Розрізала коверту і почала читати.

„Ваша правда, пані, цілковита правда! — писав їй Стоколоса. — Треба було аж нинішньої досадної научки, яку Ви, пані, дали мені, може й без повзятого з гори наміру, щоб

отворити мені очі на цілу ненатуральність моїх відносин до Вас. Бо й справді, щож я можу осягнути своєю глупою влахливістю? Ви, пані, не любите мене, не хочете й знати про мене, і були на стілько щирі, що дали мені пізнати се зовсім недвозначно. Спасибі Вам за се! І Богу дякувати, що так воно стало ся. Тільки сьогодні, під впливом острого болю, а вглянув глибше в себе самого, в саму вдачу свого чутя, і пізнав, що ми не сотворені для себе, що колиб навіть Ви, пані, з такої чи іншої причини згодилися бути моєю, то се було би може для Вас і для мене найбільшим нещастем. Так, панно Целіно, любов моя справді така, що затроїла би Вам житє. Горяча, пристрасна і заздрісна любов чоловіка з великим засобом фантазії, горячої крові і самолюбства, чоловіка, якому доля в дотеперішнім житю поскутила ся на все, що можна назвати взаємністю і особистим щастем — така любов не знайшла би границь, швидко перемінилась би на шпіона, на скупаря, на тюремного сторожа і тирана. Дрожу на саму думку про ті консеквенції, до яких вона могла б мене завести, про ті безконечні ряди дурниць і нетактів, які я зміг би наробити з любови, про ті муки, які причинявало-б мені ненастanco те переконане, що Ви мене не любите, не можете любити, що гордуете мною, що бридитесь мною... а з горю зникаю, що такого переконання Ви не могли-б

мені вибити з голови ніякими запевненями, ні-
якими присягами. Мороз по мні пробігав на
саму думку про ту пропасть, в яку я готов
був кинути ся, коли-б один відрух Вашої руки
не був зупинив мене в пору. Так спасибіж
Вам, дорога пані, стократ спасибі за ту хви-
лину болю, яка заразом пробудила в мені мо-
ральне ество, повернула мене до съвідомості
свого обовязку!“

Целя читала той лист з чим раз більшим
зачудуванем. Те, що вона подерла і викинула лист
Стоколоси, видалось їй чимось таким далеким,
таким чужим її теперішньому настроєви, немов
би між тим фактом а теперішньою хвилею
пройшли довгі роки. Для того то незрозумілою
видалась їй з початку резигнація Стоколоси,
і то як раз у хвилі, коли вона наслідком яко-
їсь дивної асоціації ідей готова була далеко
прихильнійше слухати його слів, ніж доси.

Хвілю вона думала, що весь той вступ,
се тілько викрут закоханого чоловіка, фраза
вимірена на викликане ефекту. Для того по-
спішно обернула картку, щоби дочитати другу
сторону, надіючи ся знайти там просьбу —
відписати йому хоч би кілька слів, дозволити
йому бачити ся з нею або щось інше в тім
роді. Тимчасом конець листу був короткий і зо-
вім сухий.

„Від нині не буду вже Вам, пані, доку-
чати своїм видом. Власне вертаю від нотарія,

де я підписав контракт продажі своєї реальності, про яку я так часто снів, що станеться гніздом моого щастя і тихим пристанцем по бурах життя. Нехай іде в чужі руки! А я ще сьогодні з полуодя виїжджаю зі Львова і надію ся, що не швидко верну до нього".

Шідис автora і нічого більше, ані слова, куди виїжджає. Ніякої просьби, ніякого бажання — нічогісінько.

— Ну, сей швидко надумав ся, і як видно, зовсім безповоротно, — прошептала Целя.
— Я й не думала, щоб у нього знайшло ся стілько сили волі.

І зітхнула. Хоч до Стоколоси було їй зовсім байдуже, то все таки в її серці на хвилю пробудило ся гірке почуття жалю і розчаровання, таке саме, яке проймало її колись, коли ще була малою дівчинкою і під доглядом коханої матері гуляла по луці, гоняючись за метеликами. І кілько разів один із тих летючих цвіточків був уже зовсім близько її рученят і вона з рознятими усточками і вітріщеними, бліскучими оченятами помаленьку підкрадала ся до нього, аж поки нараз він сполоханий не фуркнув свавільними викрутасами високо в гору і не щез із її очей, то мала Целінка морщила брівки, ломала губки і з загніванім лицем кричала за ним: „Недобрий! Не потребую тебе!" Але тепер часи змінили ся і Целя

не думала гнівати ся на метелика, котрий улєтів у недосяглі простори.

— Щож, може воно лішиє так! Може справді його правда, — думала вона вдивлюючи ся в судорожно покривлені і нерівні, але виразні літери письма Семіона Стоколоси.

Вона пригадала собі, що конець кінцем і сама майже те саме думала сьогодні рано, що й він пише. Але о скількох глибше, ширше гляділа вона тепер на се діло! Яким мілким видавав ся її її власний ранішній суд! Якою софістичною і вимушену резигнація Стоколоси!

— Ні, ні, ні! Цеправда се, все неправда, що він написав! — скрикнула Целя майже на голос, так що аж пані Грозицька обернулась і змірила її суворим, питуючим поглядом. — До такого переконання, як він отсе пише, він не міг дійти! — снувало ся даліше пасмо її думок, — а коли вмовив його в себе, то тільки по неволі, щоб замаскувати перед самим собою стид і своє упокорене! „Я не повірив би ніколи, що ви мене любите“. Дурню, дурню! Одного погляду, одного стиску руки правдиво любячої жінчини досить, щоб наповнити тебе тою вірою! „Я замучив би Вас своюю любовлю“. — Целя всміхнула ся напів жалісно, напів визиваючо. — Ну, рада-б я бачити, як би ти доказав сеї штуки! „Любов моя перемінилась би на тирана“... I се пише чоловік, який —

голову даю за се! — за крихітку оказаної йому любови почував би себе до обовязку бути вдячним увесь свій вік! Бідний ідеаліст! Він не знає, що поки тираном є любов і нічого іншого, поти тиранія та не може бути нещастем ані злом, і ніяка жінщина чиста, чесна, любляча і розумна такої тиранії ніколи не злякається!

Оттак думка її перечила ся з листом Стоколоси, зовсім не дбаючи про те, що сьогодні рано перечила ся і доказувала зовсім противне. Але швидко службові обовязки перевели той хід думок, а коли по хвилі знов сіла і глянула на лист, то тілько шепнула:

— Щож, нехай і так буде! Конець, то й конець! Щасливої дороги, пане Стоколосо!

Відтак зложила лист, всунула його до коверти і сковала до кишень. Сього листа рвати і викидати за вікно не думала.



VIII.

О над мурами міста пройшла бура, коротка, нáпрасна, літня. Загриміло кілька разів, густий, грубий дощ пролив ся протягом десяти мінут, а за пів години знов вияснило ся. Вулиці були скроплені, курява змита, повітре сьвіже і пахуче, о скілько на се позволяла Полтва з притоками. Целя в своїм бюрі майже не зауважила сеї маленької революції в природі; в її душі кидались і бурхали далеко сильнійші вражіння.

Аж над вечір відітнула троха. Публіка в сю пору перестає вже купами приходити до бюра, часом тілько який запізнений гість загляне сюди. Целя стала коло отвореного вікна і віддихала холодним, бурею осьвіженим повітrem. Перед її очима проходили по обох тротоарах безконечні ряди пристроєніх дам і мужчин, що уживали вечірнього проходу, торохтіли фіакри і повози, лунали окрики перекупців,

ще продавали в часні вишині і морелі, звільна
і без перерви клекотіло містове жите.

І думка Целіни, змучена всім пережитим
сьогодні, спочивала. В її голові настала тиша,
одна з тих благословенних павз, які настають
часами тілько в молодім, здоровім умі, що не
стратив ішо здібності відроджувати ся з вла-
сних жерел, а в хвилях утоми мов суха губка
творює тисячі порів і очок і всисає ними но-
ві вражіння, всисає цілий безмір зовнішнього
світа, красоти природи і людського житя, щоб
наситивши ся тим ріжчобарвним матеріялом
розпочати відтак нову працю в спокійнішім
темпі і з новою силою. На хвилю Целя забула
про все, що пережила до недавна, була тілько
губкою, що всисає нові вражіння, чула себе так
як нині рано, тілько живою істотою, котра ба-
чить, чує і почуває — нічим більше. Здавалось
їй, що вона гнутика, хитка тростина, що стойть
по коліна в воді при березі бистрої ріки.
Звільна хитає ся тростина, колисана легкою
хвилою, стиха шелестить вторуючи своїм посе-
страм, і задумано глядить на могутні байдаки,
сухе талузє, диких птахів і людські трупи, що
пливуть тут же поуз неї на каламутних хвилях.
Куди пливуть і по що? Хто би там допитував!
А хто знає, може в найближшій хвилі один із
тих иливучих величезних предметів, попхнутий
яким будь випадковим штовшком, зачепить,

вімне, зломить і з корінем вирве слабу, хитку тростину?...

— Добрий вечір, пані! — почув ся в тій хвилі при дверех бюра знайомий голос. Целя стрененулась і відскочила від вікна. Край деревляної решітки насупротив її бюрка стояв доктор Темницький, похиливши свою могучу постать, щоб показати своє лице крізь решітку.

— А, добрий вечір пану! — відповіла Целя.

— Маю тут до пані два невеличкі справуники, — сказав доктор злегка кинувши головою. — Поперед усього я хотів би надати отсей лист як рекомендований. Адже се до пані?...

І не чекаючи на відповідь віткнув Целі лист у руку, хоч знов, що рекомендоване листів не до неї належить.

— Ні, прошу пана, — відповіла Целя, — се до пані Грозицької. — І віднесла його сама до сусідки. Що по дорозі, проходячи поуз лампи, зиркнула на адрес і прочитала „Amalie Schmidt, Wien, Ottakring, Haus Nr. 17, I. Stock, 10 Thür“, се прецінь була річ зовсім натуральна.

По хвили лист був вписаний, Целя вручила докторові рецепіс і взяла від нього 15 кр. порто.

— Красненько пані дякую! — сказав доктор, ховаючи рецепт.

— А який же другий ваш справунок? — запитала Целя, думаючи, що доктор забув і забирає ся відходити.

— Завідомити паню, що наш сторож, який звичайно вечером провожає вас до дому, нагло заслав.

— Ой, а щож йому таке сталося? — скрикнула Целя.

— Не знаю, що йому там, — байдужно відповів доктор. — Те тільки знаю, що сьогодні не може прийти, і коли пані позовите, то я сповню нині ролю *garde des dames* і проведу вас до дому.

— О, дуже пану дякую, — сказала Целя. — Тілько чи не ліпше було-б, як би пан доктор був оглянув того бідного сторожа?

— О, про сторожа не бійтеся! — сказав доктор съміючись. — Уже його там добре оглянено, тай слабість його не така небезпечна. Бачите — додав з усміхом і майже шепотом, нахиляючи ся ще низше — неборачисько закропив ся трохи понад міру, ну, і...

Доктор значучо махнув головою, щоб показати повну безвладність „закропленого“ сторожа.

— А ви пані довго ще мусите покутувати в сьому бюрі? — запитав по хвили з усміхом.

— О, ні! Вже пів до девятої, — сказала Целя, поглядаючи на урядовий годинник, — а

о девятій наша служба кінчить ся. Будьте ласкаві, пане доктор, увійти сюди до нашої клітки і сісти на хвилинку. Маю ще трохи роботи, але швидко буду готова.

Доктор окітно і без церемонії війшов за перегородку.

— Пан доктор Темницький! Пані Гроziцька! — сказала Целя, познайомлюючи їх обома. Пані Гроziцька встала і поклонила ся, з під лоба глянувши на Целю.

— Дуже мені приємно! — сказала своїм сухим голосом. — Батька вашого знала я колись... за ліпших часів. Бував навіть у нас. Ну, а тепер часи змінилися! — додала з сипуванням усміхком.

В тих словах клубилося так богато гіркості, що доктор аж іздригнув ся, немов почув дотик кропиви.

— Батько мій мало куди виходить, а про дім пані добродійки часто згадує з великою симпатією, — збрехав доктор, щоб затерти неприємне враження слів пані Гроziцької. Вона однакож вже не слухала його комплімента, але відвернувши ся знов засіла при своїм бюрку і заглубила ся в своїх паперах та рецепісах.

Доктор присів край бюрка Целіни при лівім розі, звернений до неї профілем. Мовчав і розглядав мізерне, шабльоново-урядове умебльоване тої клітки, поки Целя занята була

списуванем і порядкованем листів на слідуючий день.

— Що се за пані, до якої ви надали лист? — сказала вона в кінці спокійно, не піднимаючи голови від роботи.

— Моя наречена, — так само спокійно сказав доктор.

— Так?

І знов замовкла, тільки перо звільна бігало по папері.

— Написав я їй те — говорив дальнє доктор тоном незломної постанови, — що диктувало мені сумлінє. Написав їй, що її не люблю і не можу любити, а без любови женити ся не думаю.

Целя перестала писати і підвела на нього очі.

— Що ви мовите?

— Правду. Жертва одної сторони в подружжю — се тілько глупота або трусливість тої власне сторони, яка жертвує себе. А при тім же та жертва все безцільна і безплодна. Такої ролі в подружжю я грati не хочу за всі скарби сьвіта. Се я й написав їй. Завтра відсилаю їй перстінь.

— Чи тілько не занадто поспішно поступаєте? — з усміхом запитала Целя. — Може ви справді любите панну Амалію Шмідт, а тілько в віддаленю від неї на хвилю вам видало ся, що не любите її?

— Ну, — сказав доктор усміхаючи ся на пів мелянхолійно, а на пів насмішливо, і не зводячи очий з її постави — треба тілько раз бачити панну Амалію, раз поговорити з нею, щоб дійти до певности, що ніякий нерозважний поступок супроти неї неможливий.

— Чи так! — сказала Целя. — Ну, але остро-ж ви судите! Не дай Боже нікому підпасти під ваш суд, острійший від ваших скальпелів і лянцетів! Бідна Амалія!

— Не жалуйте її, пані! — сказав доктор.
— Я певнісінський, що й вона швидко потішить ся по моїй страті. А в тім, прошу пані, чоловік раз жив, значить, перший його обовязок — уникати прикорстій там, де їх може уникнути, бо прикорости, се мінус житевий, якого нам ніяка теорія і ніякий альтруїзм не в силі надолужити.

Целя тимчасом з цілим завзятем і з цілою натугою заглубила ся в свою роботу. Кінчила її без поспіху, методично, як колиб ніякий доктор не істнував тут же поруч неї, і ніяка фільософія egoїзму не була виголошувана з цілою рішучістю житевого досьвіду і непохибності.



IX.



ударом девятої години — ані на хвилю скорійше — пані Грозицька встала зі свого крісла, посипала піском і замкнула свою книгу, поскладала на купки понумеровані вже на завтра рецепіси, осібно польські, а осібно руські, уставила в порядку тягарики від листової ваги, поскладала пера, заткала каламар, одним словом, зробила на своїм бюрку взірцевий порядок, нарушуваний тільки множеством плям від чорнила на грубій бібулі, якою для ощадності прикрите було зелене сукно бюрка. Потім почала одягати ся.

Целя була вже вбрана і чекала на неї.

— Нехай панство на мене не ждуть, — сказала пані Грозицька. — Поки стара підантка вбере ся і з місця вирушить, панство будете вже на Маріяцькій площі. Впрочім наші дороги зараз від порога розходяться, а я вже, Богу дякувати, в такім віці — додала

іронічно, п'ючи голову перед доктором, — що прохід вечером по вулиці не представляє для мене зовсім ніякої небезпеки.

— А, то добраніч пані!

— Добраніч панству!

Целя і доктор вийшли. Грозицька повела за ними понурим поглядом і прошептала:

— Наївна дівчина! Я певнісінька, що вона вірить сьому шарлятанови, а він їй плете сухого дуба. Та нехай собі вірить! Я її остерігати не буду. Побачимо, чи швидко вийде на таку саму стежку, як Ольга. Ой, мої молоденькі пані! Служба публична, то не ваша річ! У вас кров кипить, уста тримтять, очиці палають, а все се принаджності на службі зовсім непотрібні, а навіть дуже, дуже шкідливі!

І Грозицька сумно похитала головою.

— Ну, але час мені до дому, — сказала в кінці. — Боже мій, що то там діти роблять! Ой, служба, служба! Чую вже в костях її наслідки!

І стогнучи одягала ся звільна, поки не прийшов поштовий сторож, щоб позамикати віконниці, погасити світло і замкнути бюрові двері.

А тимчасом Целя йдучи поруч доктора розповідала йому з живим почутем про смерть своєї товаришки і додала при кінці:

— Хотіла-б я відвідати її матір, потішити біdnу старушку в такім тяжкім горю. Та щож,

завтра рано знов маю службу аж до другої години з полудня, годі вирвати ся.

— Служба, то неволя, — глубокомисно докинув доктор.

— Чи так пан доктор думав? — живо відказала Целя. — А мені, прошу пана, до недавна зовсім так не здавалося. Навпаки, те регулярне, після годинника розмірене життя заспокоювало думки, чинило мене здоровішою, поважнішою, задоволеною. Прийду зі служби, з'їм обід, часом передрімаю ся трохи, читаю, піду на лекцію — і так минає день за днем. І я щаслива, бо не вважаючи на ту ніби неволю, а властиво на ті тісно означені рами, в яких обертається мое життя, ячу себе незалежною, чую, що живу власною працею, що не впадаю нікому тягаром, не дбаю ні про чию ласку.

— Крім якоїсь там Грозицької, якогось там Вимазала, Должала і тим подібних бюрових молів, — злобно докинув доктор.

— Ні, прошу пана, я й про їх ласку не дбаю, бо знаю, що коли сповню добре свій обов'язок, то ніхто мені нічого не зробить. Я від них не залежу, а що стараю ся жити з ними в згоді й гармонії, то вже така моя натура. Волю для съятого супокою не одно й притерпіти, особливо коли ходить о дрібниці і о річи, в яких я сама не певна, чи моя правда.

Алеж се, прошу пана, звичайні недогоди людського життя, а не тілько нашої служби.

Говорячи се Целя впала в запал, оживила ся незвичайно; видно було, що слова плили їй з серця. Чи то сумерки, що залягали по вулицях, слабо тілько розсвічувані газовими лампами, чи сьвіже вечірне повітре, чи спокійний тон доктора додали їй такої съміlosti, — досить, що доктор ніколи ще не бачив її такою оживленою, як тепер. І ніколи ще вона не видала ся йому такою чаруючою, гарною, як у тій хвилі, хоч він тілько в неясних зарисах міг бачити її лице, що паленіло ніжним румянцем.

— Ви сказали, пані, що все се до недавна так було. Хибаж тепер що змінило ся?

— Як би се вам сказати?... Властиво довкола мене нішо не змінило ся, але я в собі чую якусь зміну. Від коли ваш таточко з захватом гідним ліпшої справи почав мені день у день догризати тою службою і розсновувати та розмальовувати перед очима всії її недогоди, від тоді, признаю ся вам, зробилася я якась вразливійша на ті дрібні шпиганя, без яких тут, звісно, не обходить ся. Тягар моєї служби, якого я давнійше майже не чула, починає мов ярмо вгризати ся мені в шию. Маю часом хвилі знеохоти.

— А може се тілько хвилі розбудженої съвіdomості?

— Щож би се була за съвідомість така важка та болюча?

— Съвідомість схильеної ціли, змарнованого житя, страчених сил! — з глибокою рішучістю і понурим голосом сказав доктор.

Целя аж зупинила ся перепуджена.

— Що се пан говорить! — скривнула. — Ну, пане доктор, — додала по хвилі, — таких зловіщих слів я від вас не надіяла ся.

— Щож, прошу пані, я лікар, і з лікарського становища не можу говорити інакше. Не належу зовсім до тих людей, що спротивляють ся правам жінки до висшої освіти, до духової праці і до супірництва з мужчинами на полі публичної діяльності. Навпаки, нехай жінки вчать ся, нехай думають, пишуть, працюють! Так богато ще поля неуправлена, так великий ще обшир незвісного і нерозслідженого, що чим більше тут робітників, тим ліпше.

— Хто би се чув, той би вас приняв за горячого прихильника еманципації жінок, — жартуючи сказала Целя.

— І мав би повне право! — горячо скривнув доктор. — Я справді її прихильник. Нехай жінки еманcipують ся з усіх своїх слабостей, недостатків і пересудів, із темноти, чужоїдного житя і недумства. Тільки яко лікар я противлюсь одній еманципації, і в тім пункті маю дуже сильного союзника — природу.

— Якій же то еманципації ви противитесь?

— Еманціпациї зі звязків сім'ї, подружя, любови! — глубокомисло відповів доктор. — Те вічне нарікане на мужчин ен *général*, те розбуджуване штучної ненависті до цілого вусатого і бородатого роду, та пропаганда еманціпованого целібату і монастирства може в очах багатьох людей осьмішити цілу справу. В моїх очах, розуміється, се тільки сумне, хвилеве збочене психофізіольгічне, на яке я не то що не гніваюся, але гляджу як на предмет лікарської практики, шукаю його жерела і міркую над способами, як би його найліпше вилічити.

— Признаюсь пану докторови, — сказала серіозно Целя, — що хоч і сама я противлюся такому розумінню становища жінки як чогось зовсім відрубного і протилежного мужчинам, то все таки я не посьміла би ніколи висмівати ані осьмішувати тих жінок, що заняли таке становище, ані навіть судити їх з такого лікарського становища, як ви. Бо прошу пана не забувати, що думка про права і суспільну працю жінки зглядно ще нова і мало розповсюджена навіть між самими жінками, то й потребує горячих апостолів, пропагаторів і адептів, а через те саме мусить витворювати екстреми, які власним прикладом силують ся дати свідоцтво справедливості і силі того напряму. Екстреми такі з суспільного погляду конечні, щоб отворити людям очі, аби ті лю-

ди, нападаючи на пересадні висококи, привикли головний, основний напрям уважати чимось пожаданим, а далі й натуральним, таким, що само собою розуміє ся.

— Шкода, що пані не адвокат! — з усміхом сказав доктор, — так славно ви бороните справи, про яку самі кажете, що ви противні їй. І признаю ся ~~вам~~, пані, що в цілій тій гарній обороні власне та заява була для мене ~~життєдіяльнішою~~.

— Для чого? Чи ви сумнівали ся про се?

— Ну, міг сумнівати ся. Аджеж дотеперіше ваше життя, а особливо те добровільне зношене початової неволі не дуже то сильно съвідчить про вашу охоту до родинного життя.

Целя з досадою махнула головою.

— Не надіялась я від пана, щоб і ви промовляли до мене в тім тоні. Добровільне зношене неволі! Аджеж се з вашого боку гірка насъмішка! Щож маю робити? Чи йти же-брать? Чи жити на ласці яких своїків? Коли ж бо й своїків таких не маю! Чи в кінці...

Не докінчила. Були вже при ціли, в сінях дому, де жили.

— Ні, прошу пані, — сказав доктор, коли обов звернули ся до сходів, — нічого подібного я від вас не жадаю. Але є ще один вихід.

— Знаю, знаю, що скажете! — кликнула Целя. — Вийти замуж. Се так, як колиб ви

вмираючочу з голоду сказали: один тілько ратунок для тебе — щодень регулярно на обід істи волову печенью. Дуже розумна рада, але вмираючий з голоду не має навіть кусника хліба.

— Ну, прошу пані, сим разом ваші аргументи дуже слабі. Аргументуйте пані порівнянням, яке хоч би навіть само в собі було більше натуральне, все таки шкитильгало би. Поперед усього маєте пані слабе поняття про мое лікарське знання, коли думаете, що я міг би чоловікови вмираючому з голоду дати таку раду. Волова печеня могла-б його ослаблений організм від разу вбити. Я пораджу йому буліон, а заразом кажу взяти його до шпиталю.

— Отже то власне, отсе то й єсть! — сказала Целя. — Таким шпиталем для незамужніх і немаючих жінок мусить бути публична служба, хоч би найпідряднійша і найменше відповідна їх бажаням і здібностям. І я опинила ся в тім шпиталі, по просту для того, щоб не вмерти з голоду.

— Ну, — відповів доктор з солодким усміхком, — але крім шпиталю є ще й домашнє лічене.

— Для тих, кого на се стане!

— А як би так напримір ви, пані, знайшли засоби на таке домашнє лічене?

— Я? Деж мені їх знайти? Хиба виграюсто тисяч на льотерії.

— Ну, се трудненько. Але коли-б так, візьмімо, засоби знайшли ся, чи приняли-б ви їх, пані, чи може відкинули-б їх з якої фальшивої амбіції?

— З фальшивої амбіції? Сеі у мене чайже нема! Залежало би се від засобів і від жерела, з якого походять.

— Жерело як Бог приказав, а засоби, візьмімо так, скромні, але для домашнього ліченя вповні відповідні.

— Признаю ся пану, — сказала Целя зупиняючи ся в сінях перед дверима помешкання, — що зовсім не розумію, про яке лічене і про які засоби се ви говорите.

— Може воно й так, — з якоюсь двозначною міною сказав доктор. — Можемо про се поговорити іншим разом. Ви, пані, прецінь придете до нас на вечерю?

— Або я знаю?

— Прийдіть! — сказав доктор сердечно.

— Батька нема дома, а мені зовсім істи не хоче ся самому. Тай так... поговоримо, коли вас се не буде нудити.

— Ну, то до побаченя! — сказала Целя і подавши йому руку пішла до своєї съвітлички.



X.

При вечері помимо докторського запевненя був присутній старий Темницький. Доктор мовчав і старав ся навіть не глядіти на Целю. Старий Темницький був також якийсь понурий, а Целя, яка надармо ломала собі голову над тим, що властиво хотів сказати їй доктор, сама не мала охоти розпочинати розмову. Тож зараз по вечері відійшла до свого покою, толкуючи ся тим, що завтра рано мусить устати до служби.

Мусіла переходити через кухню, де на момент зупинила її Осипова, оповідаючи про сторожа, який упивши ся наговорив грубіянств господареви камениці, а особливо старому Темницькому, про котрого на всю вулицю викрикував такі погані історії, що аж слухати гайдко.

— Ну, але буде йому за те в поліції! — додала стара.

— Як то, його взяли на поліцію?

— А вжеж! Пан Темницький знайомий зі старшим комісарем, побіг, пожалував ся, ну, і взяли нашого сторожа. Вже на його місце іншого маємо.

— От як! — сказала Целя дивуючись.

— А чи не паннунця то загубили сей лист? — сказала Осипова добуваючи з за пазухи помнятій, розпечатаний лист і даючи його Целіні. — Може знов яка дурниця, — додала вона, — і паннунця на мене розгнівають ся, але така вже моя доля, що все до паннунці з листами налажу.

Целя зирнула на лист і затремтіла.

— Відки Осипова має той лист?

— Та я знайшла його ось тут на сходах! Я гадала, чи не паннунця його випустили. Найво паннунця глянуть до середини, може там письмо інше, не належне до сеї коверти. Письмо лежало осібно, се я сама його вложила до коверти.

Целя виняла письмо, зирнула в нього до лампи — і зареготала ся голосним, сердечним реготом.

— Ха, ха, ха! Отсе так! Отсе гарно! Отсе цікаво! Ха, ха, ха! — реготала ся Целя складаючи письмо і ховаючи його знов до коверти. Регочучись вона вбігла до свого пokoю, але тут нараз її регіт урвав ся, уста зціпилися, лице поблідло. Їй починало дещо прояснювати ся в голові, але якеж болюче було те

прояснене! Вона швидко почала ходити по по-кою, далі зупинила ся при вікні і притулила ся чолом до холодної шиби. В її уяві мигнув образ Стоколоси з переляканою фізіономією, близькими очима, згорбленим і невродливим, але з горячим і щирим серцем. Хвильку він немов вдивлював ся ій у лицо, а потім лицо його поволокло ся невимовним сумом і звільна розплило ся в сірій імлі. Целя махнула рукою.

— Що мені з того! Був мені чужим і лишить ся мені чужим. Се не жадна страта.

Важче звеніли струни її душі на згадку про Ольгу. Фантазія Целії, що всяку думку зараз пристроювала в пластичні картини, в одній хвилі розвернула перед нею широкий, запиленний і погано вимощений шлях. Се жіноча публична служба. Тим шляхом іде нечисленна жінінка жінок, молодих і старших, веселих і понурих, повних надії і повних зневіря. Здається ся, що всі вони йдуть у суміш, рівним, розмірним кроком, але прецінь приглянувшись ся близше тій громадді видно неначе три купки, три стежки на шляху.

Стежкою на право йде купка жінок, у яких у серцях горе життя, розчаровання і службовий ригор висушили відмолоджуюче жерело чутя і людської самодіяльності. Се жінки бюрократки, які непохитно пильнують своїх обовязків у житю, але жінки з дуже затісненим круговидом життєвих інтересів, симпатій

і антіпатій. Се людські істоти, симпатичні з багатьох поглядів, гідні співчуття також з багатьох поглядів, але дуже зредуковані, упрощені, зведені, так сказати, до спільногого знаменника. Курява дороги насіла на них густою верствою, вгризала ся в їх шкіру і вигризала з неї всякий колір, усякий полиск свіжості.

Другою стежкою на ліво йдуть істоти як раз противні тамтим, живі, палкі і повні бажання жити, повні запалу до праці, повні посвячення і співчуття, але власне для того наражені на найтяжші покуси, на найбільші небезпеки, похибки і помилки. В тій трупі нема одностайності й уніформи; тут кожде лице — справді відмінна фізіономія, тут повно руху та контрастів, лунав съміх і глухо стогне розпуха, а здовж шляху, яким пройшла ся громадка, від часу до часу лишає ся якийсь недовідомий останок: то труп, то калюжа крові.

А третій шлях — середній. Іде ним дуже мішана, найчисленніша компанія. Єсть тут жінки загартовані досвідом, які з тяжкої життєвої боротьби винесли все таки чутливе серце і непорочну душу; єсть молоді панночки, яких щасливий темперамент хоронить від екстравагантцій, а молодість від рутини, натури гармонійні, з живим чутем і бажанем діяльності, але кермовані більше розумом, ніж чутем. Боротьби і внутрішніх роздвоєнь і тут не хибне, не хибне блудів і помилок, бо деж їх хибує

в ділах людських? Але скарб найдорожчий, людськість, гідність і індівідуальність людська в тій громадці хоронить ся съято, переноситься як найцінніше наслідє все наперед, до далекої, красшої будущини.

Лехке стукане до дверей перервало її мрії.

— Чи можу війти? — запитав у дверях доктор. — Чую, що пані ще ходите по покою, не спите, то й подумав собі..,

— Прошу, прошу, ходіть близше! — сказала Целя.

— Я тільки на хвилечку. Тато по вечери забрав ся до свого касина, а я не привик так вчасно йти спати. Але колиб я мав пані перешкодити...

— Ні, пане доктор, не чую ся сонною, — сказала Целя. — Прошу, сідайте.

Доктор сів, і під час коли Целя не переставала ходити по покою, він не зводив із неї очей.

— Дивна річ, — почав говорити по хвилевій мовчанці. — Дивлячи ся на вас, пані, так і здається мені, що читаю ваші думки як з книжки.

— Се вам так здається ся, — відмовила Целя з усміхом.

— Ну, о що заклад, що знаю, про що ви думали в тій хвилі!

— Добре, о що заклад?

— О... о... знаєте пані, як виграю, то тоді скажу свою ціну, а як програю, то ви подіктуете.

— Моглоб вас богато коштувати те, що я подіктую.

— Все одно. Але я також буду вимагати не аби якої річи.

— Я спокійна, пристаю. Ну, говоріть, про що я думала.

— Про одного панича, що зве ся Семіон Стоколоса.

Доктор сказав ті слова звільна, з притиском, вперши прошибаючий погляд у Целине лице. Вона стояла насупротив нього. Слова доктора, бачилось, не зробили на неї ніякого враження.

— Я знала, що ви в той бік стрілите, хоч і не надіяла таких слів. Ви програли, пане доктор. Я думала про долю жінок у публичній службі.

— Слово чести?

— Слово чести!

— Прошу діктувати свое вигране.

— Мусить пан доктор як на сповіди визнати мені три правди, — на пів гумористично, а на пів з якимось нервовим неспокоєм сказала Целя. — Поперед усього, відки пан доктор знає Семіона Стоколосу і на якій підставі судить, що я могла думати про нього?

— О, на се питанє дуже лехка відповідь. Пана Стоколосу знаю ще з гімназії. Власне сьогодні, коли ви пані вийшли до служби, я побачив його крізь вікно, як ішов вулицею. Випадково побачив його і мій тато і показав мені на нього, як на того молодого чоловіка, з котрим... котрого... про котрого він згадував при обіді.

Кров ударила Целі до голови.

— І ви зараз увірили, що я маю з ним якісь близші знозини! — скрикнула вона. — Фе, пане доктор, стидайтеся!

— Щож, хиба в тім було би що злого? Пан Стоколоса чоловік здібний і симпатичний не вважаючи на свою... комічну поверховність.

— І не вважаючи на се мені до нього зовсім байдуже.

— А преціньже ви, пані, кореспондуєте з ним.

— Помилляете ся, пане. Я одержала від нього пару листів, се правда, але на жадний не дала йому відповіді.

— Ну, так! Візьмім так, писаної відповіди ви йому не дали, але устну.

— Пане доктор! — скрикнула Целя прікрам, болючим голосом.

— Алеж прошу пані, адже ж і се не будь би ніяким злочином.

— Але колиб було фактам, то я би з тим не крила ся.

— Га, то перепрашаю! Нехай пані перейдуть до другого пункту, коли ласка.

— Ні, пане, дарую вам другий пункт, — сказала Целя з досадою.

— Ов, пані вже й гнівають ся на мене, — сказав доктор. — Може кажете йти геть?

— Але сидіть, сидіть! Хто вам сказав, що я гніваю ся? — поспішно сказала Целя.

— Ну, спасибі за дозвіл! А що до другого пункту, то я можу пані відповісти на нього і без питання. Пані хотіли знати близькі подробиці про панну Амалію Шмідт. І овшім!

Целя глянула на нього з зачудуванем, вкінці засміяла ся голосно.

— Сим разом угадали. Але памятайте говорити правду!

— Щож, — сказав спокійно доктор, — не маю причини скривати правди. Панна Амалія Шмідт, се, як я вже пані говорив, дочка протомедика віденського головного шпиталю, має 28 літ і єсть спадкоємницею півмільйонової фортуни. А що я з її батьком у великій прязни, то сей старав ся делікатно наклонити мене, щоб я став його зятем. Ну, нічого гріха тайти, чоловік не съятий, полакомив ся не стілько на маєток, скілько на карієру, яку мені обіцював др Шмідт, і заручив ся з панною. Але сьогодні, як пані бачили, я відписав їй „слово твердо“ і розірвав ті заручини.

— І се правда? — запитала Целя пильно дивлячися докторови в лиці.

— До слова правда!

— Слово чести?

— Слово чести! — без запинки сказав доктор.

— Ну, добре. А щож властиво склонило вас до того розриву?

— Що мене склонило? Гм! — сказав доктор удаючи заклопотаного. — Позвольте пані, що на разі лишимо се питання на боці, бо воно і так не належить до теми другого пункту — панни Шмідт.

— Так, так! — сьміючи ся сказала Целя, — Трактуймо річ парламентарно! Переходимо до третього пункту. Який властиво був змисл вашої вечірньої розмови? Може воно нетактовно, що я так просто питаю, але, пане доктор, ви програли заклад, так уже, значить, не прогнівайте ся!

— Властивий змисл моєї розмови? Гм, гм! — І доктор сим разом спрощі з заклопотанем порушив ся в кріслі. — Се діло досить делікатне, і я не знаю, в якій би формі вам сказати його.

— Не дбайте про форму! Форма, се зрадник. Нехай річ сама за себе говорить, — поважно і навіть якось строго сказала Целя.

— Властивий змисл моєї розмови, прошу пані, такий, що я... — ті слова доктор цідив

звільна, чим раз помалійше, аж вкінці шептом, нахиляючи ся на кріслі, додав: люблю вас!

І сказавши се склонив ся, кинувся до Целії, щоб обніяти її в свої могучі рамена. Целя зблідла, але енергічним рухом рук зупинила його.

— Ні, пане, — сказала, — не забувайте ся! Сидіть. Я ще маю вас де про що спітати. Кажете, що мене любите. Щож, велика честь для мене. Очевидно скажете також, що для мене ви покинули панну Амалію Шмідт, правда?

— Ну, а як би й так?

— Також велика честь і велика жертва для мене, о, велика! — з якимось нервовим притиском сказала Целя. — А тепер скажіть, чого ви жадаєте від мене за ту честь і за ту жертву?

— Дивно ви, пані, висловлюєте ся, — сказав доктор. — Ані за ту честь, ані за ту жертву, ані за свою любов я не жадаю і не можу жадати від вас нічого. Я можу тілько бажати...

— Ну, так чого ж бажаєте?

— Щоб... щоб... ви хоч трошка полюбили мене.

— І по що вам моєї любові?

— Ах, пані! Як ви можете так питати ся? Ваша любов була би для мене найбільшим скарбом, новим житем, була би...

— Пане доктор! — строго перебила його Целя. — Не вдавайтесь з себе поета! Се вам дуже не до лиця. Кілько разів ви говорили про себе, що ви чоловік практичний. То говоріть же по своєму, практично.

Доктор видивив ся на Целю, яка стояла перед ним усе ще бліда, з затисненими устами і з виразом якогось сконцентрованого напруження і рішучості. Він окинув її бистро питаючим зором, у котрім на момент мигнуло щось як злобна насымішка і певність побіди, і сказав:

— Ну, пані, троха ви мене розчаровуєте. Я не думав, що в таких річах ви такі практичні.

— А щож ви думали? — відмовила Целя. — Що зловите мене на самі слова, котрим я маю причину не вірити?

— Маєте причину? — здивував ся доктор. — Прошу, яка се причина?

— Се вже моя річ! — відповіла Целя. — Як прийде на мене черга говорити, то я скажу її, не бійте ся. А тепер говоріть ви. Тілько остерігаю вас, говоріть щиро!

— Хибаж я доси не говорив щиро? — з міною ображеної невинності сказав доктор.

— До річи, пане доктор, до річи! Чого вам треба від мене?

Доктор поблід на се питане. Хвилю вагував ся.

— Щож, пані, — сказав він, — се було би моїм нагорячійшим бажанем, найвищим ідеалом, але тут заходять деякі перешкоди, котрі треба би вперед усунути. Не думайте, що такою перешкодою я вважаю вашу біdnість. Про

се мені байдуже! Правда, на початок практики, на устрою здалось би дешо фондів, ну, але в тім уже моя голова, не вам сим журити ся. Важнішою перешкодою єсть...

Доктор на хвилю запукав ся.

— Що таке? — спитала Целя.

— Ваша почтова служба, ось що! — сказав доктор і відітхнув, мов би звалив якийсь важкий камінь із грудей.

Целя гляділа на нього з німим зачудуванням.

— Так, пані! — свободніше вже і навіть з якимось жаром говорив доктор. — Ані мій батько ані я не пристанемо на те, щоб моя наречена з поштового бюра йшла під вінець. Жінка, се для мене щось таке съяте, ніжне, недосягле, що я навіть у думці не можу без обурення бачити її там, на публичній виставі, на тім ринку, де безстидність і брутальна сила штовхають ся в боротьбі за шматок хліба. Представляти собі вас, пані, серед тої юрби, се для мене таке болюче, таке понижуюче!...

Целя стояла бліда, холодна, непорушна. Тільки її груди хвилювали раптовно і швидко, съвідчачи про глибоке внутрішнє зворушення.

— То щож маю зробити? — спитала вона ледви чутно.

— Покинути почути як найшвидше, хоч завтра!

— І куди ж відтак подіти ся? А джеж тут... у вас... на вашій ласці бути не можу, не будучи ще вашою.

— Ну, на ласці! Яких ви слів уживаєте! Для того, кого люблю, всяка ласка, всяка жертва єсть тілько обовязком. Правда, тут вам бути ніяково, але на се єсть рада. У мене є стара тітка в Станіславові, відвезу вас до неї, пробудете там, поки тут усе буде готове до шлюбу. Ну, що, згода?

І доктор з усміхом знов простер рамена, щоб узяти її в свої обійми.

— Ще ні!, — холодно сказала Целя. — Тепер моя черга сказати слово. Не буду говорити довго. Прошу вас, пане доктор, прочитайте мені на голос отсей лист і поясніть його зміст!

І вона подала йому письмо, яке перед тим дала їй Осипова.

Доктор зірвав ся з крісла мов опечений, кинувши оком на грубі каракулі та курячі лаби, якими надряпане було його ім'я на коверті.

— Відки ви взяли се письмо? — сказав він різко.

— Не бійте ся, пане доктор, я його не вкрала, — холодно відповіла Целя. — Осипова знайшла його на сходах і думаючи, що воно моя, подала його мені. Лист був осібно від коверти, і поглянувши на лист, я побачила рахунки за пране, за мите підлоги, за чищене

чобіт, а під ними рідпис: „Amalia Schmidt, Ihr altes Stubenmadl“. Аж тоді я глянула на коверту і побачила, що письмо се адресоване до вас. Прошу, пане доктор, звертаю вам сей цінний документ.

Доктор стояв, як то кажуть, ні в пять, ні в девять, а далі з силуваним усміхом почав звільна:

— Ну, панно Целіно, і щож з того виходить?

— НУчого, — сказала Целя, — окрім хиба того, що ви словом чести запевнили, що ваша байка з панною Амалією правдива. Значить, тепер я знаю, яка ваша честь!

— Алеж се жарт, невинний жарт!

— Такий самий невинний, як той, котрий ви хотіли зробити зі мною! О, тепер я зрозуміла вас! Тепер знаю, щоб вам завадила моя служба! Знаю, до якої тітки ви хотіли завезти мене! Знаю, в якім значінню ви хотіли зробити мене своєю! Боже мій, Боже! — додала вибухаючи голосним плачем, — і що я вам зачинила, що від так насъміхаєте ся надімною? Що ви як ті вовки від першої хвилі тілько над тим і міркуєте, щоб пожерти мене, втопити в болото, зогидити у власних очах!

І заливаючи ся горячими слізми, в знесилю впала лицем до подушки. Тяжке хлипання потрясало всім її тілом. Доктора давно

вже не було в покою, а замісь нього стара Осипова мов мати нахиляла ся над плачучою дівчиною.

Пізно Целя заспокоїла ся і довго не могла заснути. Житє видалось їй таким тяжким, небезпечним і зрадливим, як тому, хто заблудив ся в лісі повнім гадюк, вовків і отруйного сопуху.

Другого дня через Окипову вимовила Темницьким помешкане. А з полудня, по урядових годинах на почті поспішила до старої Невірської. Нещасна жінка, що, бачилось, виплакала вже всі слози над трупом Ольги, приняла Целю як перший промінь съвітла по темній ночі. Її слова, повні горячої, сердечної любові для помершої, повні чистого, дівочого співчуття навіть для її похилки і для її великого терпіння старенька пила мов оживляючу росу. А коли вкінці Целя розповіла їй свою пригоду з доктором Темницьким, бабуся міцно-міцно обняла її і зрошуючи слізами її молоде чоло сказала :

— Мое дитятко золоте, бідне! Ходи до мене! Займи те місце, яке так нагло опорожнила люта смерть. Будь мені за дитину! Будемо любити ся, будемо ратувати одна одну. А тих, котрі пасуть на нашу погибель, нехай Бог судить як сам хоче!

Целя цілуvala бабусю в зівялі руки, обливаючи їх слізами.

Львів, у червні 1888 р.

ЛЕСИШНА ЧЕЛЯДЬ.

I.



Пречудовий літній поранок. У холоднім, легенькім вітрі ледви-ледви лелів ся широкий лан жита. Жито мов золото. Колосе наче праники, аж похилило ся під вагою зерна та перлових крапель роси, що позвисали з кождої стебелинки. Стебла стоять високі та рівні, жовті і гладкі між зеленим листем повійки, полетиці, осету та іншого буряну, що стелить ся сподом. Денеде видніється з посеред того золотого, шумливого та пахучого моря синє чаруюче око блавату або квітка куколю, або дівоче, паленюче лице польового маку.

Зійшло сонце. Зацвіркотали сверщки на всілякі лади, забреніли великі польові мухи, затріпотали ся барвисті мотилі понад колосистим морем. Природа ожила. Вітер подув сильніше, подув теплом зі сторони тіса і зачав стрясати срібну росу з трав і цвітів.

У селі підняв ся гамір, закипіло житем. Вигін запестрів ся від худоби, яку гнали на

пашу. За худобою йшли заспані та немиті пастухи. Декотрі лишень, які успіли вже й поспідати, співали весело, гойкали та вилускували батогами, женучи свій товар.

З хат закурив ся дим. Господині топлять зарана, щоб вчасно зварити обід; молодших виправляють в поле.

Лиш у старої Лесихи не курить ся зо стріхи. Хоча там іх три: стара, донька Горпина і молода невістка Анна, але вони таки ніколи рано не топлять, усе ввечір. Вечером спечуть та зварять, що там треба, — а весь день божистий не дбають. Запопадні господині, хоть куди!

Газдівство у старої Лесихи несогірше. Хата хоть стара, та ще добра; будиночки нові, просторі і опрятні, худібка красна, що Господи, гладке кожде мов слімак. Пасіка також по смерті небіщика Леся не пішла ніворотом. Лесиха приняла старого діда жебручого Зарубу в хату, обшила, обхамрала, — тай уже старий літом і пасіки пильнує, і коло хати найменшої крихіточки допантрує.

Лесиха була й справді жінка дуже господарна та запопадлива. Сукристка дуже та тверда. Бувало як на що завізьме ся, то хоть рака лазь, усе поставить на своїм. Хоть волосе в неї і сивіло, то лице її було червоне і здорове, як цвікльовий бурак. Облесного й масного язика в неї не було. За те говорила все

уривчасто і якось мов сердито. Жарту або якого іншого радого та щирого слова не чув від неї ніхто. Кождому, аби хто, вміла дотяти своїм острим язиком. Правда, — кажуть — не з добра вона така й стала. Небіщик Лесь, повідають, убивав її тяжко за молодих літ, прибивав кілком за косу до лави, та бив... З горя вона тоді нераз і напивала ся, і той звичай лишив ся у неї ще й до тепер, хоч ніколи пияство не довело її до того, щоб розтренкувала та прошастувала гірко запрацьоване добро. Коли пила, то пила сама. В її хаті ані в селі ніхто від неї ніколи й не понюхав порції горівки. Стара Лесиха була дуже тверда і скуча.

Гнат Лесишин довго не міг оженити ся. Ні одна дівка в селі не хотіла йти за нього. Не знати, чи то тому, що був такий злий та забіяка, чи тому, що такий поганий. Волосє червоне, оча маленькі, хитрі як у якого Тата-рина, сам великий, голова як макітра, а губи мов подушки, такі повіддувані. Ну, не про те річ, — най його там божа Мати судить! — але досить на тім, що нікотра дівка не хотіла йти за нього. Ще — не знати як і чому — плели щось люди, що Гнат не зовсім має чисті пальці, нераз там крізь них і дещо чуже прослизне ся. Не знаю як де, а в нашім селі вже нема гіршої ганьби, як коли кого обне-

суть що він злодійкуватий. І ніби то не зло-
дій, нічого кримінального за ним не водить ся,
а злодійкуватий. Як то кажуть, „має неруш
у руках“. Чи вночі пару сношів із поля, чи
в день деяку дрібницю з чужого пустого обій-
стя потягне, тай то чи бачив хто, чи не бачив,
досить, що вже як піде така слава про чоло-
віка, то ніяк він не зміє її з себе. Таке було
і з Гнатом Лесишиним, тому то не міг він
довго оженити ся. Нікотра не хотіла йти за
нього тай годі.

Але вкінці трафила їя таки одна — Ан-
на Тимишина. Пішла вона за Гната, та на своє
торе. Бідна сирота, без вітця, без матери, тіль-
ко й віна внесла в Лесишину хату, що свої
чорні брови, карі очи, та двоє рук робучих,
та терпливе, послушне і покірливе серце. Ой
зазналаж вона долі за Гнатом! Не минув рік,
а вже стала щезати її краса, погасати блиск
ока, хилити ся до землі вродлива голова! Зви-
чайне — гризота, сварка та бійка! Кого вони
не пригнуть до землі, не позбавлять весе-
лості?...

І от вам уся Лесишина челядь. Ага, був
ще у Лесихи хлопчина наймит, Василь, що пас
худобу. Його прозивали Галазем, бо вічно, ско-
ро вжене худобу в ліс, галайкоче та галай-
коче, і не вгавав на волосок. В одній хвилі
і коломийки задробить, і думки затягне, і ве-

сільної, і з п'євирі та гласів церковних. Не був він письменний, усе те переймав зі слуху, і аби вам одну співанку вмів скінчити. Голоси та співанки плели ся в його голові в якімось дикім неладі і мотали ся, мов клоче сіна в буйнім вітрі. Вони не цікавили, а тілько заглушували його. Він співаючи не тямив о съвіті ані о собі. Худоба брила ніворотом. А як хто інший співав, то він не любив слухати. Сказано, якийсь тумановатий. З чого йому таке пішло, Бог знає. Може також з нужди та бійки. Ой, бо то й натерпівся він усілякого лиха, відколи померли його родичі на холеру. Вони, кажуть, були богатенькі і пестили дуже свого Васильчика. Смерть забрала їх нагло одного дня, — Васильчик перешов у чужі руки, а чужі руки, звісно, не гладять! Били його, бо був розпещений, упертий, лінівий. Вигнали з нього ті хиби, та заголомшили молоду голову, затоптали остатню іскорку дитинячої свободи і живости. Маєток заслиз у чужих руках, мов сніг у воді, а Василя дали на службу до старої Лесихи. А тут, звісно, він попав ся ще в твердшу школу. Тут його допікали не стілько бійкою, скілько голodom та тою ненастannoю гризнею, якою Лесиха вміла з'їсти чужу душу як іржа зелізо. А Василь мов і не чув. Поки в хаті, серед людей, то мовчить, ходить як туман, а скоро тілько

вирве ся на самоту, в ліс, на толоку, то співає-співає, а властиво галайкоче без тями, людям на съміх, а собі мабуть на полекшу, а бодай на забуте, на опяніне та безтямність.



II.



Лесиха, сказано, западна, перша йде за-
жинати з донькою і невісткою.

— Най-но, чи наш Галай і нинੀ пустить
худобу в царину, чи буде тямити вчорашнੀ
синці? — заговорила якось ніби жартуючи,
з осьміхом Лесиха, йдучи передом та побли-
скуючи новим серпом під пахою.

— Ба, а чому ж би не пустив? Як зачне
вигалайкувати, то й про съвіт забуде, не то про
худобу! — відмовила Горпина. Її гарне, молоде
лице съвітило ся здоровим румянцем супроти
сходячого сонця. Вона одна була ще найща-
сливійша на всю хату. Мати любила її, хоть
правду сказавши, нераз і Горпині доводило ся
коштувати гіркої від матері або від брата.

— Ой, так, приголомшили бідного хлопця,
як кота загорілого, та тепер добивають! —
шепнула ніби сама до себе Анна. В серці бід-
ної сироти найскорше збудило ся пожалуванє
над таким же круглим, нещасним сиротою.

— Ага, свій усе зі своїм рука! — відрізала їй гнівно Лесиха. Вона зачула тихі слова невістки.

— Сирота, а писок як ворота! — кричала дальше. — Не бій ся, моя кітічко, і ти би варта з ним на одну гилю! Зійшли ся обое, тай зараз одno над другим і жалуєть ся. Ей, божа би вам Мати не дала просвітлої години, що ви мою працю дармо марнуєте, мій хліб дармо жрете, а все лельом-блельом поводите ся.

— Ну, мамо, вже знов зачинасте? — огризнула ся Горпина. — Тай як вам не сором таке говорити? Та ви би, здасть ся, й камінь із місця рушили своїм язиком, щоб не лежав дармо та не забирав місця, не то живу людину. Та хиба ми не робимо, дармо хліб імо?

— Ой, роби-те! — протягаючи слова передразнила Лесиха. — Так робите, як той, у кого глянняні руки і капустяна голова. Як би не гукати на вас, не думати за вас, то було би з вашої роботи стілько потіхи, як із торічного снігу.

Лесиха замовкла. Задихалась. Ніхто більше не обазивав ся.

Прийшли на місце. Анна вибрала місце на межі, де склала полуденок. Лесиця нівка була шість загонів за широка. Три їх за день могли її набезпечно впорати.

Лесиха тут уже порядкує.

— Ти непотрібе, — відівала ся прудко до невістки, — ставай онтут! (Показала найширший загін). Ти (до доньки) сюди, — а я на прихуду!

Поставали.

— Господи помагай! — сказала Лесиха і перша ужала жмінку спілого, колосистого жита, перша зробила перевесло, звязала снопок і відставила його на бік. То первачок, він на урожай значить.

— Ану, до роботи! — промовила знов. І три жіночі голови скилили ся до землі, румяніючи. В руках забліскотіли серпи, захрустіли тверді стебла жита, підтінані блискучим, зубчастим зелізом. Жменя за жменею паде на землю. Гарним, протяглим луком перемикають женщі нажату жмінку понад головою за себе і кладуть на стерні. Час від часу одна випрямить ся, вимкне жмінку жита, стрясе з пашинистого буряну, розділить на двоє, скрутить перевесло і простре його на сувіжій, пахучій стерні. Свершки, жуки і всяка комашня утікає поперед серпами. Часами й злякана сіра миш висмикнє ся зі своєї нори, перебіжить по під ноги женчисі, тай знов повзне в ямку.

Рано, за холоду, з росою добре жати. Хруп-хруп, хруп-хруп... Лиш тільки всього й чути, та шелест складаного в сиопи жита.

Але поволи-поволи сувіже, польове повітре, широка самота і тишина поля, одностай-

ність роботи спонукають духа, щоб виявив себе. Розмова не легко тут завяже ся, — стара Лесиха все її якось прикро перерве. От одні що, так се пісня.

І поволи-поволи із загальної тишини і одностайного хрупання стебел вирізує ся чудовий, срібний, зразу тихенький, мов несьмілій голосок. Се Горпинин голос. Стара жне, не зважає на те. Горпина стає съмілійша, голос міцніє, із серця нехota лле ся тужна пісенька:

Туди лози хилили ся, куди її похило;
Туди очи дивили ся, куди сердцю мило.

— Гей, ти неліпо якась! — крикнула Лесиха до невістки, — чи вже лишаєш ся? Вже тобі руки покулило, чи що?

Анна, слабовита й так, не змагала на найширшім загоні йти по-рівно з іншими. Вона лишила ся була вже майже о півтора спона з заду.

— Щож бо ви, мамо, мене нині вчепили ся, як оса? — відрекла вона зібравши ся якось на відвагу, але не підводачи голови. — Хиба не видите, що не можу борще жати, бо загін широкий? Ваша прилуда не те. Лацио вам виварачати!

Се розлютило Лесиху.

— О, дивіть мені на неї! Яке съміле та угурне. Ще й свое рило ставить напротив мене! Ей, небого моя! Коби мені борзо вечір,

прийде Гнат із косовиці, не будеш ти така широка!

Анна хотіла ще щось відповісти, але Горпина шепнула до неї:

— Дай спокій, сестрице! Мама все мусить теркотати. Жиїм разом!

Авна замовкла. Горпина зачала її все піджинати, майже пів загона собі забирала. Була то щира душа, не в маму вдала ся, та часом лише говорила під її лад, бо знала сучристу материну натуру. Знов стало тихо, лише стебла хрупотять да час від часу серп бренькне о камінець.

Горпина десь з перегодом затягla другу пісню. Зібрало ся Анні на тугу й жалоші, і вона також силкувала ся вилити іх піснею. Вона несъміло та рівно і переливно затягla:

Зайшло сонінько за віконінько,
Як промінное коло;
Вийди миленька, вийди серденько,
Промов до мене слово!
Радабим вйти, радабим вйти,
До тебе говорити, —
Та лежить нелюб по правій руці,
Бою ся 'го збудити!

Лесиха слухала пісню затиснувши зуби. Кілька разів з під лоба суворо поглянула на

невістку. Анна не бачила того, жала далі і співала. З її тусклого ока скотила ся навіть груба слюза і впала на серп. Знак, що й серце її співало туж пісню, не лиш уста.

— От що їй на голові! Господиня моя зателепана! Які співаночки виводить! — перебила гнівно Лесиха.

— Дайте бо ви, мамо, Анні спокій! — з серцем відрізала Горпина. — Що вас за говорінка напала? Нії говорити, нії плакати, нії съміяти ся не даете, ще й співати бороните! Яка мара далі витримає у вас?

— Но, но, розтріскотала ся, сороко куцохвоста! — скрикнула мати. — Волиш жати та тихо бути! Не бій ся, знаю я, де у тебе раки зимують! Лиш мені не мовчи, то й ти будеш знати, по чому локоть борщу!

Знов одностайно і понуро йшла робота. Стара хвиля від хвилі покрикувала на невістку, то на доньку, мов оконом. Уже сонце гетьгеть підійшло. Жито клало ся на поміт та встелювало широкі загони. Вже наші три женчихи пополуднували і не спочиваючи взяли ся знов за діло. Сонце жарило, з лиць котив ся піт. Сверічки цвіркали голосно та проникливо. Здавало ся, що їх голос лунав десь глибоко під землею і впадав до вуха, мов

острій кремінний пісок. Окрім сверців усе затихло, все поховало ся в тінь перед палющим сонячним промінем. Лиш люди, пани соторіння, мучать ся тоді, коли спочиває природа.



III.

—  Лесихо, Лесихо! — чути голос якогось косаря з під ліса.

Лесиха встала, приложила руку над чоло і вперла очі в далечінъ.

— Чи не видите, онде три ваші корови в вівсї? — кричав голос дальше.

Із ліса долітало галайканє і вересклівий спів Василя:

Ой там на горбочку
Сидів дідько в черепочку,
А ми його не пізнали..

Гей (оте „гей“ тягло ся безконечно довго) мати-ж моя, мати, Пусти мене погуляти...

Го о-о-а-усподи, воззвах тебі, услиши мя!..

— Ах, чортів накоренок! Уже знов змалював! Бодайже ти з себе печінки викричав! Василю — гей! Василю — гей! Дідьча би то-

бі мати в печенії всадила ся! Ту-у-мане вісім-нацятай — на! А не видиш, що корови в школі — га? А, повилазили би тобі toti сліпаки, та би тобі повилазили!

— Господи помило-о-ой! — ішов відгук із ліса. Те „лой“ тягло ся знов дуже довго і згубило ся вкінці десь у далекім, темнім лісі.

— Галаю — на, Галаю! — закричав знов косар з під ліса. — А не виженеш ти собі корови з царини? Вигнало би тебе, як Бачинську гору, га!

— Ой туду, ду, ду, ду, ду, ду, за волами я йду! — репетував Галай з ліса.

Косар мабуть стратив терпливість, ухопив косу на плече та побіг сам виганяти корови з вівса. Вігнав їх у ліс і щез за ними в темряві зелені. Лиш незадовго чутно було крик і ревіт Василя.

— А то, то, то! — приговорювала Леси-ха, знов схиляючи ся до жнива. — Най з нього там і третю шкіру здійме, слова йому не скажу! Най пантрує худоби, а не галайкоче!

Вечеріло. Сонце пишно закотило ся за сині гори. Мряка зачала налягати на луки і клубити ся чим раз ширше сивими туманами. З під неї, мов дитина з під теплої перини, обізвали ся деркачі. Перепелиці запітшіліткали з жита. Вітер повіяв від мочарів теплом та за-

пахом сирого лепеху і татарського зіля. Любо якось та легко ставало на серці.

Наші женчихи дожали нивки, поставали, повипростовували крижі та відсалували.

— Ладний деньок буде завтра, — промовила Лесиха якось ласкавійше, як звичайно.

— Богу дакувати, що ми тут нині впоралися. Завтра треба буде ячмінь на Базарищи скопити.

— Ладна ніч буде нині! — прешептала Горпина, легко почервоніла і зітхнула.

Анна всьміхнула ся до неї, та якось сумно, мов крізь слізки. Вона одна знала про тайну Горпининого дівочого сердечка, про її любов до вродливого, чорнобрового парубка Митра Грома.

— Ну, чого стоїте! Анно! хопти у забирасти, коровам до припусту! Ти, дівко, бігай, телята напій! Ну, борше!

Анна зараз метнула ся мовчки, раднійше, як звичайно. Чаруюча сила лежить в однім однієїськім ласкавішім слові! Горпина підбігцем і приспівуючи поквапила ся до дому, а стара Лесиха, положивши серп на голову вістрем до хустки і завдавши собі на плече сніп первак гордо помела за нею. Остатня прийшла до дому Анна двигаючи на плечах велику верету сувіжого, пахучого та цвітистого буряну. Корови чекали вже на неї, а по-

бачивши свою звичайну вечерю, зачали ричати з радости і стовпилися разом коло сіняних дверей, чекаючи, аж прийде черга на кожду йти до сіній, перекусити смачного зіля і віддати в чистий скопець свій цілоденний запас молока.



IV.



Же геть-геть смеркло ся. У Лесихи затоплено в печі і огонь палає ярким, червоним съвітлом. Анна з Горпиною порають ся, варять що треба на завтра. Дід Заруба голосно говорить молитви сидячи на припічку, а Василь, наслухавши ся сварки Лесихи і відібравши зо два бухнаки межи плечі, поліз на піч і заснув не чекаючи вечері.

Під вікнами почули ся тяжкі мужицькі кроки і бреньк коси, а троха згодом увійшов Гнат у хату, кинув старий соломяний капелюх на лаву і сів конець стола.

— Ти на, Галаю! Бики попричинані?

— Попричинані, попричинані, — відповіла Анна миючи миски і заходячи ся коло вечері.

— А ти газдине, де твої серпи лежать?

— Або деж? Адже в сінях над одвірком! Деж би мали?..

— Ага! Аби я був троха не діздрів, був би собі ногу на вік віченний просадив! Під самим порогом!

— То певне коти...

— Ой, небого моя! Лиш ти не пантруй моєї праці, як ока в голові! Не маєш свого що розмітувати! Не принесла ти мені тут ніякого віна!

Анна замовкла. Її дуже прикро вкололо те слово. На що ж ти брав мене? Адже ти й тоді видів, що я бідна! Такі гадки тисли ся їй до голови, але съміlostи не було у неї кинуті й собіж ними Гнатови в очі.

— Ну, спати! — комендерує Лесиха. — Ти непотрібє огонь у печі погаси, грань позамітай у закутець, чуєш? Горшки у піч, най крупи на завтра доварять ся. Горпино, води ще нема! Рушай по воду, а хутко!

Анна почала порати ся, а Горпина вибігла до сіній. Тут лише злопотіла коновцями тай коромислом, рипнула дверми, а з обори чутно лиш було веселу пісеньку:

Кобим була така красна, як та зоря ясна.
Съвітилабим миленькому, ніколи не згасла!

— О, які їй по голові сверщки цвірко-чуть! — відізвав ся сердито Гнат, роздягаючись. — Мамо, не висилайте її ніколи вечером за водою!

— Або чому?

— Та хиба не знаєте? Той довгоносий Громик, он із за дороги, щось дуже до неї...

— Що? — верескнула Лесиха. — Тото засмарткане съміс підлазити до моєї доночкі? Також я йому волосе обмикаю на його капустяний голові! Я йому піду до матерн, най його собі держить, коли не оче, щоб йому яка кавза стала ся!

Гнат ляг уже на постіль. Лесиха довго ще сапала та ходила по хаті.

— Ей, най но я його зловлю в свої руки! Буде він мати ся! Підсвинок якийсьходить! Адже як його пірву за лабу, а за другу приступлю, то його розідру.

— Угу, а вам що таке, мамо? — зачала уговорювати Анна. Вона доси мовчала на тогу бесіду, кінчила прятати. — Що вам такого припало? От, слухаєте, що Гнат плете! Та най скаже, чи видів коли своїми очима, аби Громик зачіпав Горпину?

— О, який мені тут із неї адукат! — відкрикнув на постели Гнат. — А не підеш ти спати, ти, робітнице моя неплачена!...

Лесиха роздягла ся і лягла на запічок' де Анна постелила вже була для неї мягкую перину і два заголовки. На печі хропів уже голосно дід Заруба, та час від часу галайкав крізь сон Василь.

— Діду, а оберніть ся на другий бік! Не хрошіть так, піч завалить ся! — крикнула Лесиха штуркаючи діда в бік.

— Бог заплатить! Ручечкам роботящим і ножечкам приходящим і головам вислухашим, — зачав Заруба крізь сон свою звичайну молитву, але зараз-же обернув ся на другий бік і втих. По хвилі заснула й Лесиха.

Тихо стало в хаті. Місяць несъміло, блідо проглядає крізь мутні шибки. Анна ще не лягала спати. Вона сперла голову о вікно а лікті о варцаби і довго стояла тяжко задумавшись. Над чим вона думала? Бог знає. Може переходили поперед її очима її літа молоді, невеселі, сирітські. Може пригадувала ся її сердю яка перша, щаслива, безталанна любов, бо в очах закрутили ся дві слізози, а з уст ледво чутно полила си сумна думка:

Шуміли верби в Поповій Дебри,
Тай лозовове прутя;
Люблю тя, дівча, люблю, серденъко,
Про людий не візьму тя.
Не так про людий, не так про людий,
Отець мати не велить...
Мене за тобов, мене за тобов
Само серденъко болить!

— Жінко, ти каланице моя непроторонпа! Що ти, вибрала ся миши ловити, чи що? Чому спати не йдеш? — обізвав ся Гнат.

Анна схаменула ся, обтерла слізи і клякла до молитви.

Молила ся довго, горячо, простими, сердечними словами.

З надвору долітало іржане коцій, яких конюхи гнали на пашу, то жалібний голос сопілки, то деркане деркачів у траві. Загавкала собака і затихла. Заклекотів запізнений бузько на сусідовій хаті. А на вигоні пропала ся Горпина зі своїм любком.

— Горпино, серце, зажди ще хвилечку! Ми ще й не наговорили ся.

— Ні, Митрику, нема коли, мама будуть сварити. Ти знаєш, які вони! Добраніч тобі! А завтра...

Не докінчила, хопила коновці з водою і побігла до хати.

— Еге, завтра, — шептав за нею Митро.
— Хто знає, яке те завтра буде.

Довго поглядав з вигона на Лесишину хату, а далі й задумав ся.

— Чи не дармо я її люблю? Чи віддасть ї стара Лесиха за мене? — подумав він. Серце йому стисло ся, коли погадав про свою бідність.

— Треба робити, заробляти що сили, а чи що з того вийде?... Таке то наше гречане...

Зітхнув важко, витяг сопілку з за пазухи, заграв, затилікав, та так дрібно та тужно, не-

мов би в тім голосі тонула вся його надія на
тихе щастє.

— Гірка моя доле! — прошептав Митро
і повернув у свій вигін до бідної, вербами об-
садженої хатини, де жила його стара мати.
З між густих зелених верб чути було по хвилі
парубоцький голос, що виводив пісню:

Ой ще кури не піли,
Кажуть люде: день білий!
Ой вийди, вийди, хороша дівчино,
Поговори зо мною!

Лолин у червні 1876.



Між добрими людьми.

Оповідання.





I.

Но ви так дивите ся на мої руки? Ну, годі вам, покиньте! Не гарні вони, ще з мозолями. Панове у дівчат таких рук не люблять. Ви не думайте, що я на легкім хлібу виросла і так собі, з легким серцем на легкий хліб пустила ся! Ну, цур його з серцем! Не хочу про нього говорити — і не питайте! І згадувати не хочу.

А про давнійше жите що вам розказувати? Се така нецікава і звичайна історія, яких тисячі можете побачити.

Мій батько був економ у одного пана на Поділю. Добре йому вело ся. Маму свою не богато й памятаю. Тілько й згадую, як мене пестила й цілувала і називала румяним яблочком. Певно не думала й не снила ніколи, куди її яблочко покотить ся.

Дали мене до школи до Тернополя. Не довго я там і вчилася. Я була дуже гарна з лиця і мама дуже мене любила, то й намовила тата, щоб мене відібрал від школи вже по третім році.

— На що нашій Ромці школи, — казала вона — по що їй собі голову морочити? З її красою їй не прийде ся довго дома засиджувати ся. Швидко її візьмуть від мене, то нехай хоч надивлю ся, як вона, моя квіточка, росте та красою наливає ся.

Вернула я до дому, і також рада була. На селі так гарно. В дворі також панночки були, ми бавилися разом, на фортепіані грали, гуляли по величезнім двірським саду, мій тато возив нас по ставу на човні.

Не довго тривала радість. Мама вмерла на запалені легких, тато дуже чогось засумував ся, почав пити і плакати по ночах, а далі одного рана знайшла я його на ліжку неживого, з перерізаним горлом, у калюжі крові. Я зомліла на його вид, плакала і вбивала ся, не можучи зрозуміти, що йому стало ся. Говорили з разу, що він убив себе з туго по мамі, але я тому не вірила. Я вже мала дванацять літ і знала, що він мами не любив, що часто в своїй спальні вони сварилися, що мама нишком плакала і все повторяла:

— Ну, що той поганець робить! Що він робить! Він мене в гріб вжene! Власну дитину заріже.

Я тоді не розуміла сього і потім не могла додумати ся, що воно значило. Я тілько неясно догадувала ся, що й мама мабуть через те померла. Я мучила ся думками, що воно могло значити, але не могла дійти до нічого. Тато був такий добрий для мене, так мене любив, убирав мене гарно, купував мені все, чого я хотіла, що страшні мамині слова „власну дитину заріже“ не могли мені і в голові помістити ся, видавалися якоюсь дикою клеветою.

Аж по батьковій смерти все від разу мені відкрилося.

Ще не встигли вмити і нарядити тіла, коли до хати війшов дідич, управляючий і ще кілька офіціалістів ураз із комісарем від стаєрства і жандармами. Почали відмикати всі шуфляди, перетрясати всі скрині і закутки. Що там знайшли — не знаю, бо я весь час стояла коло трупа, тисла ся до нього, мов у нього шукала охорони — не плакала, а тільки трептіла й хлипала як дитина. Тільки потому я чула, як шептали довкола: „Злодій, злодій, обкрадав панську касу, держав любовницю в селі!“

Я й не дослухувала всього. Я так любила тата!...

Приходив дідич іще раз, коли труп лежав
уже наряжений, але й не поглянув на нього,
а тільки прикликав мене, взяв за підборіде,
поглянув на мое заплакане лицце, погладив по
голові, дав дуката, а по похороні казав мене
з дрібкою моїх манатків спакувати, посадити
на фіру і відвезти до Тернополя, до вуйка,
брата небіжки мами. Решту, що було в домі,
дідич задержав для себе як відшкодоване за
те, що тато покрав.



II.

Вуйко був бідний магістратський урядник і мав пять дочок — найстарша мала вже 28 літ, а наймолодша 15. Усі на порі, всі замуж хочуть, а тут ніхто ані руш до них не навертає ся. Бідні були дівчата. Без шкіл і науки, без маєтку, без ніякого ремесла окрім того нужденного шитя, тай ще без уроди, якісь косоокі, з великими губами, низенькі як полумайданчики. А претенсії були — все ж таки вони діти урядника, а їх мати була шляхтянка, з обивательського дому. З простою робітницею стоваришувати ся, се були би вважали страшеною ганьбою. Принести зо студні води або з поблизу склешу хліба — де там, нехай Бог боронить! П'ять таких дівок, а ще служницю держали! А тут біда в хаті, батькова пенсія скуча. Ну, що я вам буду розповідати, яке там жите було в тій хаті. Прокоптувала я його цілі чотири роки, і знаєте... Може бути, що те, що я тепер роблю — і великий гріх.

Але я думаю, що за те пекло, яке я вибула там у вуйка через ті роки, всі мої гріхи будуть прощені. Я свою кару ще перед гріхом відпокутувала.

Скоро тільки я війшла в хату, так зараз і почула, що починає ся для мене нове життя. Мої кузинки обступили мене, стискають, цілують, гладять по під бороду... „Ромця! Ромця! Ай-ай, як вона виросла, яка гарна!“ Обзирають мене на всі боки, як якого звіра. І ховай Боже, погостили, кілька день водили на спацери, до знайомих, і так, по місті. Все зо мною делікатно, лагідно. „Ромцю, а подай те!“ „Ромцю, а принеси се!“

Шо кількох днях, побачивши, яка страшна пустота в їх житку, вічні тілько розмови про паничів, котрі не хотіли приходити, про сукні, а як та убрана, а як ся, — я почула якесь обриджене. Тих людей, про котрих вони говорили, я не знала, а дома, ще при мамі, тай потому по її смерти, я привикла до праці — я вела ціле татове господарство. То й тут я рвала ся до роботи. А ім тілько того й треба було. Зараз від першого служницю відправили, і я, на пів добровільно, а на пів за їх просьбами, якось так незначно стала на її місце.

— Пошо нам служниці? Правда, Ромцю? Ми й самі дамо собі раду! Студня близько, склеп близько, ну, а коло кухні та коло балії нам також не першина!

Я згожувала ся, бо воно було правда, і тілько дивувала ся троха, чого вони мене за кождим словом так цілують і стискають, як коли-б я кождій із них по дукатови подарувала.

— Правда, Ромцю, ми все будемо разом робити, будемо собі помагати, як сестри! Тиж наша сестричка, правда?...

І почало ся таке, що я стала у них за служницю. Я була ще слабосила, підліток, але й не числила ся зі своєю силою, двигала воду, прала що тижня їх білизну, чистила чоботи вуйкови і паннам, варила їсти. Ніби то значило ся, що й вони мені помагають, але така то була їх поміч! Як білизна випрана і висушена, то візьмуть і попрасують. Як іти рано на терг до міста, то котра будь іде зо мною: я несу кошик і закуплене (нераз приходило ся нести на плечех), а вона платить і всьміхається. „Ромцю, зроби се!“ „Ромцю, зроби те!“ „Ромцю збігай туди!“ „Занеси лист на пошту!“ „Купи татови тютюну!“ Оттак від рана до пізної ночі. І все деликатно, ласково. Що правда, коли ми йшли по ринку, то я мусіла держати ся з заду, як служниця. Ба, далі почало ся троха і з іншого тону.

— Ромка, якжеж ти помалу ходиш!

— Ромка, як ти довго сидиш при тій сту-
дни! А тут посуда не мита!

— Ромка, як ти довго чешеш ся! Що се ти так довго гуздраєш ся, а наши сукні не вичищені лежать!

А у мене волосся було густе, роскішне, і справді треба було попрацювати над ним щодень, аби довести його до ладу. Бачу, що ніколи мені паньката ся з моїми пишними косами, взяла тай пообтисала їх. Як радувалися з цього мої ділікатні кузинки, то й сказати вам не можу!

— Ай, Ромця! Якаж вона ладна! Що за милий хлопчик! Їй Богу, хлопчик!

І знов ціловане, гладжене по під бороду, стискане... Я знаю, що се з доброго серця, але троха мені вже за богато було. Та що діяти — не було куди обернути ся, чую себе здоровою, бачу, що й вони мною задоволені і що дня вираховують, кілько то видатків тепер ощаджує ся: і на платі для служниці (бо мені нічого не платили), і на живності і на дровах. Бачите, служниця на торг усе ходила сама, і аж тоді, як пішла від нас і панна стала ходити зо мною, показало ся, що ця ошукувала їх на яких 20 або 30 кр., тай ще й пліхшу живність купувала. Ну, і топлячи в кухні, коли панни туди не заглядали, спалювала далеко більше дров, видаткувала більше омасти, ніж я. Ну, а справляти на мене нічого не потребували, у мене було досить гардероби своєї і по мамі, було й дещо грошей за продану та-

тову гардеробу, котру я відіжджуючи від пана спакувала разом до своєї. Ті гроші я берегла про чорну годину, не показувала ся з ними дома і не говорила про них паннам, міркуючи, що не потрібно наражувати їх на покусу, а себе на неприємність.

Особливо припав мені до серця вуйко. Дуже добрий був чоловік, сивий уже, згорблений і тихий такий, що ніколи дома його не було чути. Верне з канцелярії — аби йому обід подали, і ніколи було не скаже: се зле зварене, сього не люблю, як би мені того або того!... Ні, жадних гримасів! З'єсть, ще й дочок утишує, щоб не гримасували, а дякували Богу й за те, що є. А потому, чи зима чи літо, сяде собі на кріслі, закурить люльку, і читає газету, доки не задрімає. Дочки в сусіднім по-кою скачуть, гуркочуть, хихикають та регочуть ся, а далі зберуть ся та цілою юрбою йдуть на спацир, а йому се байдуже. Так як той мельник привик до туркотаня пиття.

Нераз, коли дочки повиходять, а тільки я сама лишу ся, кручу ся по кухні або спрятую в покоях, він було стане і довго дивить ся на мою роботу, пожалує мене:

— Бідна Ромцю, дитино моя золота! Чим я тобі відплачу ся за твою щирість, за твою невсипущу працю?

Я мовчу, тільки очі на нього витріщу — дурну з себе вдаю, бо й що йому маю сказати?

А він підійде, поцілує мене в чоло, а в самого аж сльози на очах.

— Віджив я при тобі, дитино моя! — каже.
— І тілом і духом віджив. Давнійша служниця обкрадала нас, годувала всякою поганю. Дочки сварили ся з нею день у день, але ані одна рукою не рушила, щоб зарадити злому. А при тобі й на них якийсь стид найшов, хоч що будь часом роблять. Господи мій, і що з ними буде, на кого вони надіють ся?

Видно було, що дуже турбував са своїми дочками, але не мав відваги сказати їм у очі ані слова, бояв ся їх цокотання. Тілько передомною душою свою розводив, бо знов, що я все прийму і паннам нічого не скажу.

— Бог тобі заплатить, дитино моя, — повторяв він по кождій такій мові. — Бог тобі заплатить за все твое добре серце, бо я, бідний, немічний чоловік, ніколи не зможу цього зробити!



III.

Mинав рік за роком. Я підростала і мое положене між незамужнimi кузинками ставало ся чим раз гірше. Помимо ненастанної праці я була здорова, крепка і весела. Не подобало ся їм те, що я була красша від них усіх. Коли було йдемо на ринок за закупном, то хоч я одіта в брудну, пошарпану одіж, хоч панни навмисне не дають мені перед тим умити ся ані розчесати ся, то все таки прохожі паничі не дивлять ся на панну, а обертають очі за мною.

— Ромка, куди ти дивиш ся! — фукає на мене панна, коли я зустрінусь очима з поглядом якого молодого чоловіка. А сама, не бійсь, аж благає очима у того самого панича: до мене! до мене! Та що, коли в її очах, як казали, заздристь тліє, як іскра в попелі, а в моїх веселість живим полумям горить. Се мені так їх власний батько говорив.

Приходив дідич іще раз, коли труп лежав
уже наряжений, але й не поглянув на нього,
а тільки прикликав мене, взяв за підборіде,
поглянув на мое заплакане лицце, погладив по
голові, дав дуката, а по похороні казав мене
з дрібкою моїх манатків спакувати, посадити
на фіру і відвезти до Тернополя, до вуйка,
брата небіжки мами. Решту, що було в домі,
дідич задержав для себе як відшкодованє за
те, що тато покрав.



II.

Вуйко був бідний магістратський урядник і мав пять дочок — найстарша мала вже 28 літ, а наймолодша 15. Усі на порі, всі замуж хочуть, а тут ніхто ані руш до них не навертає ся. Бідні були дівчата. Без шкіл і науки, без маєтку, без ніякого ремесла окрім того нужденного шитя, тай ще без уроди, якісь косоокі, з великими губами, низенькі як полуманьки. А претенсії були — всеж таки вони діти урядника, а їх мати була шляхтянка, з обивательського дому. З простою робітницею стоваришувати ся, се були би вважали страшеною ганьбою. Принести зо студні води або з поблизького склепу хліба — де там, нехай Бог боронить! П'ять таких дівок, а ще служницю держали! А тут біда в хаті, батькова пенсія скуча. Ну, що я вам буду розповідати, яке там жите було в тій хаті. Прокоштувала я його цілі чотири роки, і знасте... Може бути, що те, що я тепер роблю — і великий гріх.

Але я думаю, що за те пекло, яке я вибула там у вуйка через ті роки, всі мої гріхи будуть прощені. Я свою кару ще перед гріхом відпокутувала.

Скоро тільки я війшла в хату, так зараз і почула, що починає ся для мене нове життя. Мої кузинки обступили мене, стискають, цілють, гладять по під бороду... „Ромця! Ромця! Ай-ай, як вона виросла, яка гарна!“ Обзирають мене на всі боки, як якого звіря. І ховай Боже, погостили, кілька день водили на спацери, до знайомих, і так, по місті. Все зо мною делікатно, лагідно. „Ромцю, а подай те!“ „Ромцю, а принеси се!“

По кількох днях, побачивши, яка страшна пустота в їх житю, вічні тілько розмови про паничів, котрі не хотіли приходити, про сукні, а як та убрана, а як ся, — я почула якесь обридання. Тих людей, про котрих вони говорили, я не знала, а дома, ще при мамі, тай потому по її смерти, я привикла до праці — я вела ціле татове господарство. То ѹ тут я рвала ся до роботи. А їм тілько того й треба було. Зараз від першого служницю відправили, і я, на пів добровільно, а на пів за їх просьбами, якось так незначно стала на її місце.

— Пошо нам служниці? Правда, Ромцю? Ми й самі дамо собі раду! Студня близько, склеп близько, ну, а коло кухні та коло балії нам також не першина!

Я згожувала ся, бо воно було правда, і тілько дивувала ся троха, чого вони мене за кождим словом так цілють і стискають, як коли б я кождій із них по дукатови подарувала.

— Правда, Ромцю, ми все будемо разом робити, будемо собі помагати, як сестри! Тиж наша сестричка, правда?...

І почало ся таке, що я стала у них за служницю. Я була ще слабосила, підліток, але й не числила ся зі своєю силою, двигала воду, прала що тижня їх білизну, чистила чоботи вуйкови і паннам, варила їсти. Ніби то значило ся, що й вони мені помагають, але така то була їх поміч! Як білизна випрана і висушена, то візьмуть і попрасують. Як іти рано на төрг до міста, то котра будь іде зо мною: я несусь кошик і закуплене (нераз приходило ся нести на плечех), а вона платить і всьміхається. „Ромцю, зроби се!“ „Ромцю, зроби те!“ „Ромцю збігай туди!“ „Занеси лист на пошту!“ „Купи татови тютюну!“ Оттак від рана до пізної ночі. І все деликатно, ласково. Що правда, коли ми йшли по ринку, то я мусіла держати ся з заду, як служниця. Ба, далі почало ся троха і з іншого тону.

— Ромка, якжеж ти помалу ходиш!

— Ромка, як ти довго сидиш при тій стуцдні! А тут посуда не мита!

— Ромка, як ти довго чешеш ся! Що се ти так довго гуздраєш ся, а наші сукні не вичищені лежать!

А у мене волосє було густе, роскішне, і справді треба було попрацювати над ним щодень, аби довести його до ладу. Бачу, що ніколи мені паньката ся з моїми пишними косами, взяла тай пообтинала їх. Як радувалися з цього мої делікатні кузинки, то й сказати вам не можу!

— Ай, Ромця! Якаж вона ладна! Що за милий хлопчик! Їй Богу, хлопчик!

І знов ціловане, гладжене по під бороду, стискане... Я знаю, що се з доброго серця, але троха мені вже за богато було. Та що діяти — не було куди обернути ся, чую себе здоровою, бачу, що й вони мною задоволені і що дня вираховують, кілько то видатків тепер ощаджує ся: і на платі для служниці (бо мені нічого не платили), і на живності і на дровах. Бачите, служниця на торг усе ходила сама, і аж тоді, як пішла від нас і панна стала ходити зо мною, показало ся, що що дня ошукувала їх на яких 20 або 30 кр., тай ще й пліх-шу живність купувала. Ну, і топлячи в кухни, коли панни туди не заглядали, спалювала далеко більше дров, видаткувала більше омасти, ніж я. Ну, а справляти на мене нічого не потребували, у мене було досить гардероби своєї і по мамі, було й дещо грошей за продану та-

тову гардеробу, котру я відіжджуючи від пана спакувала разом до своєї. Ті гроші я берегла про чорну годину, не показувала ся з ними дома і не говорила про них паннам, міркуючи, що не потрібно наражувати їх на покусу, а себе на неприємність.

Особливо припав мені до серця вуйко. Дуже добрий був чоловік, сивий уже, згорблений і тихий такий, що ніколи дома його не було чути. Верне з канцелярії — аби йому обід подали, і ніколи було не скаже: се зле зварене, сього не люблю, як би мені того або того!... Ні, жадних громасів! З'єсть, ще й дочок утишує, щоб не громасували, а дякували Богу й за те, що є. А потому, чи зима чи літо, сяде собі на кріслі, закурить люльку, і читає газету, доки не задрімає. Дочки в сусіднім по-кою скачуть, гуркочуть, хихикають та регочуть ся, а далі зберуть ся та цілою юрбою йдуть на спацир, а йому се байдуже. Так як той мельник привик до туркотання питля.

Нераз, коли дочки повиходять, а тільки я сама лишу ся, кручу ся по кухні або спрятую в покоях, він було стане і довго дивиться на мою роботу, пожалує мене:

— Бідна Ромцю, дитино моя золота! Чим я тобі відплачу ся за твою щирість, за твою невисипущу працю?

Я мовчу, тільки очі на нього витріщу — дурну з себе вдаю, бо й що йому маю сказати?

Приходив дідич іще раз, коли труп лежав
уже наряжений, але й не поглянув на нього,
а тільки прикликав мене, взяв за підборіде,
поглянув на мое заплакане лицце, погладив по
голові, дав дуката, а по похороні казав мене
з дрібкою моїх манатків спакувати, посадити
на фіру і відвезти до Тернополя, до вуйка,
брата небіжки мами. Решту, що було в домі,
дідич задержав для себе як відшкодоване за
те, що тато покрав.



II.

Вуйко був бідний магістратський урядник і мав пять дочок — найстарша мала вже 28 літ, а наймолодша 15. Усі на порі, всі замуж хочуть, а тут ніхто ані руш до них не навертався. Бідні були дівчата. Без шкіл і науки, без маєтку, без ніякого ремесла окрім того нужденного шитя, тай ще без уроди, якісь косоокі, з великими губами, низенькі як полуманьки. А претенсії були — всеж таки вони діти урядника, а їх мати була шляхтянка, з обивательського дому. З простою робітницею стоваришувати ся, се були би вважали страшеною ганьбою. Принести зо студні води або з поблизького склепу хліба — де там, нехай Бог боронить! П'ять таких дівок, а ще служницю держали! А тут біда в хаті, батькова пенсія скуча. Ну, що я вам буду розповідати, яке там жите було в тій хаті. Прокоштувала я його цілі чотири роки, і знаєте... Може бути, що те, що я тепер роблю — і великий гріх.

Але я думаю, що за те пекло, яке я вибула там у вуйка через ті роки, всі мої гріхи будуть прощені. Я свою кару ще перед гріхом відпокутувала.

Скоро тільки я війшла в хату, так зараз і почула, що починає ся для мене нове життя. Мої кузинки обступили мене, стискають, цілують, гладять по під бороду... „Ромця! Ромця! Ай-ай, як вона виросла, яка гарна!“ Обзирають мене на всі боки, як якого звіря. І ховай Боже, погостили, кілька день водили на спацери, до знайомих, і так, по місті. Все зо мною делікатно, лагідно. „Ромцю, а подай те!“ „Ромцю, а принеси се!“

По кількох днях, побачивши, яка страшна пустота в їх житю, вічні тілько розмови про паничів, котрі не хотіли приходити, про сукні, а як та убрана, а як ся, — я почула якесь обриджене. Тих людей, про котрих вони говорили, я не знала, а дома, ще при мамі, тай потому по її смерти, я привикла до праці — я вела ціле татове господарство. То й тут я рвала ся до роботи. А ім тілько того й треба було. Зараз від першого служницю відправили, і я, на пів добровільно, а на пів за їх просьбами, якось так незначно стала на її місце.

— Пошо нам служниці? Правда, Ромцю? Ми й самі дамо собі раду! Студня близько, склеп близько, ну, а коло кухні та коло балії нам також не першина!

Я згожувала ся, бо воно було правда, і тілько дивувала ся троха, чого вони мене за кождим словом так цілють і стискають, як коли б я кождій із них по дукатови подарувала.

— Правда, Ромцю, ми все будемо разом робити, будемо собі помагати, як сестри! Тиж наша сестричка, правда?...

І почало ся таке, що я стала у них за служницю. Я була ще слабосила, підліток, але й не числила ся зі своєю силою, двигала воду, прала що тижня їх білизну, чистила чоботи вуйкови і паннам, варила їсти. Ніби то значило ся, що й вони мені помагають, але така то була їх поміч! Як білизна випрана і висушена, то візьмуть і попрасують. Як іти рано на терг до міста, то котра будь іде зо мною: я несу кошик і закуплене (нераз приходило ся нести на плечех), а вона платить і всьміхає ся. „Ромцю, зроби се!“ „Ромцю, зроби те!“ „Ромцю збігай туди!“ „Занеси лист на пошту!“ „Купи татови тютюну!“ Оттак від рана до пізної ночі. І все деликатно, ласково. Що правда, коли ми йшли по ринку, то я мусіла держати ся з заду, як служниця. Ба, далі почало ся троха і з іншого тону.

— Ромка, якжеж ти помалу ходиш!

— Ромка, як ти довго сидиш при тій сту-
дни! А тут посуда не мита!

— Ромка, як ти довго чешеш ся! Що се ти так довго гуздраєш ся, а наші сукні не вичищені лежать!

А у мене волосе було густе, роскішне, і справді треба було попрацювати над ним щодень, аби довести його до ладу. Бачу, що ніколи мені паньката ся з моїми пишними косами, взяла тай пообтінала їх. Як радувалися з цього мої делікатні кузинки, то й сказати вам не можу!

— Ай, Ромця! Якаж вона ладна! Що за милий хлопчик! Їй Богу, хлопчик!

І знов ціловане, гладжене по під бороду, стискане... Я знаю, що се з доброго серця, але троха мені вже за богато було. Та що діяти — не було куди обернути ся, чую себе здоровою, бачу, що й вони мною задоволені і що дня вираховують, кілько то видатків тепер ощаджує ся: і на платі для служниці (бо мені нічого не платили), і на живності і на дровах. Бачите, служниця на торг усе ходила сама, і аж тоді, як пішла від нас і панна стала ходити зо мною, показало ся, що що дня ошукувала їх на яких 20 або 30 кр., тай ще й пліхнувши живність купувала. Ну, і топлячи в кухні, коли панни туди не заглядали, спалювала далеко більше дров, видаткувала більше омасти, ніж я. Ну, а справляти на мене нічого не потребували, у мене було досить гардероби своєї і по мамі, було й дещо грошей за продану та-

тову гардеробу, котру я відіжджала від пана спакувала разом до своєї. Ті гроші я берегла про чорну годину, не показувала ся з ними дома і не говорила про них паннам, міркуючи, що не потрібно наражувати їх на покусу, а себе на неприємність.

Особливо припав мені до серця вуйко. Дуже добрий був чоловік, сивий уже, згорблений і тихий такий, що ніколи дома його не було чути. Верне з канцелярії — аби йому обід подали, і ніколи було не скаже: се зле зварене, сього не люблю, як би мені того або того!... Ні, жадних ґримасів! З'єсть, ще й дочок утишує, щоб не ґримасували, а дякували Богу й за те, що є. А потому, чи зима чи літо, сяде собі на кріслі, закурить люльку, і читає газету, доки не задрімає. Дочки в сусіднім по-кою скачуть, гуркочуть, хихикають та регочуть ся, а далі зберуть ся та цілою юрбою йдуть на спацир, а йому се байдуже. Так як той мельник привик до туркотання питля.

Нераз, коли дочки повиходять, а тільки я сама лишу ся, кручу ся по кухні або спрятую в покоях, він було стане і довго дивить ся на мою роботу, пожалує мене:

— Бідна Ромцю, дитино моя золота! Чим я тобі відплачу ся за твою щирість, за твою невисипущу працю?

Я мовчу, тільки очі на нього витріщу — дурну з себе вдаю, бо й що йому маю сказати?

А він підійде, поцілує мене в чоло, а в самого аж сльози на очах.

— Віджив я при тобі, дитино моя! — каже.
— І тілом і духом віджив. Давнійша служниця обкрадала нас, годувала всякою поганю. Дочки сварили ся з нею день у день, але ані одна її рукою не рушила, щоб зарадити злому. А при тобі її на них якийсь стид найшов, хоч що будь часом роблять. Господи мій, і що з ними буде, на кого вони надіють ся?

Видно було, що дуже турбував са своїми дочками, але не мав відваги сказати їм у очі ані слова, бояв ся їх цокотання. Тільки передомною душою свою розводив, бо зінав, що я все прийму і паннам нічого не скажу.

— Бог тобі заплатить, дитино моя, — повторяв він по кождій такій мові. — Бог тобі заплатить за все твое добре серце, бо я, бідний, немічний чоловік, ніколи не зможу цього зробити!



III.

Mинав рік за роком. Я підростала і мое положене між незамужнimi кузинками ставало ся чим раз гірше. Помимо ненастної праці я була здорова, крепка і весела. Не подобало ся їм те, що я була красша від них усіх. Коли було йдемо на ринок за закупном, то хоч я одіта в брудну, пошарпану одіж, хоч панни навмисне не дають мені перед тим умити ся ані розчесати ся, то все таки прохожі паничі не дивлять ся на панну, а обертають очі за мною.

— Ромка, куди ти дивиш ся! — фукає на мене панна, коли я зустрінусь очима з поглядом якого молодого чоловіка. А сама, не бійсь, аж благає очима у того самого панича: до мене! до мене! Та що, коли в її очах, як казали, заздристь тліє, як іскра в попелі, а в моїх веселість живим полумям горить. Се мені так їх власний батько говорив.

На жадний прохід мене не то з собою не брали, а й самої не пускали.

— Не можна! — говорили між собою. — Вона наша своячка, сирота, ми за неї відповідаємо. А їй уже з очій видно, яка дорога її чекає, коли їй дати волю!

І при тім зазирали ся одна по другій і всьміхали ся так якось погано, що я вся паленіла зо стиду аж до глибини душі, хоч і не знала, куди вони гнуть і що саме чекає мене.

Таким способом із слуги я перемінила ся в невільницю. Зо мною вже не робили собі ніяких церемоній. „Ромка, як ти съміш говорити з нами, як з рівними?“ „Ромка, марш до кухні!“ „Розтovстіла на нашім хлібу і ще хоче з себе панну вдавати!“ — от такі слова я тілько й чула від них. Почали попрікати мене і батьком злодієм, ба, почали й поштуркувати по куткам. Побачили, що я їм за богато, хоч я іла тілько те, що після їх обіду лишалося. Постановили не давати мені того, а купували для мене осібно картофлі, круп ячмінних або гречаних і казали варити се для себе в окремім горщику.

Від якогось часу завели такий звичай, що по четвергам просили до себе когось на гербату. Просили звичайно молодих паничів, студентів з висших кляс, урядників, військових. Я в такім разі не съміла показувати ся з кухні, панни самі услугували, щоб показати, які

то вони господині. Я нераз було забю ся в темний куток кухні, поплачу троха, а далі плюну і слухаю до півночи, що вони там гомонять у покою. Панни мої цокочуть, сьміють ся голосьно; батька їх не чути ніколи, він хоч про око також сидів при гостях, але я знала, що старий забивши ся в куток на своїм кріслі з поручами дрімає десь з люлькою в зубах.

Важко мені стане, коли послухаю того веселого гомону там в освітленім покою, коли уявлю собі всьміхнені лица і бліскучі очі паничів, і подумаю, що й я не гірша від них, а мушу оттут бовваніти в темній, брудній кухні. Але далі думаю: що ж мають робити бідні дівчата, ті мої кузинки! Вони бояться ся, щоб я у них якого жениха не відбила. Бідність наша робить нас злими й завидющими, а не зле серце.



IV.



дного такого четверга вже гості були зібрані, панни при них, я сама була в кухні, поралась. Звичайно коли гості приходили, панни стрічали їх у кухні і старалися так заступати, щоб жаден із них не міг мені придивитися. Ще й штуркне мене одна або друга і оберне лицем до кута. Так і думали ті гості, що у них якась стара служниця. А тепер сталося так, що коли вони там сиділи та пили чай,увійшов ще один гість, молодий офіцер, гарний такий, привітний. Перший раз побачив мене — і здивувався.

— А, кухарочка! — сказав весело, — нова кухарочка!

Тай хотів ущипнути мене за підборіде.

— Перепрощаю, — сказала я, чуючи раптом, що в моїм нутрі щось бунтується, — ані кухарочка, ані нова. Я тут уже три роки!

— Ов, а я ані разу не бачив! — сказав він знимаючи плащ.

— А щож, буду для пана на виставі стояти? — відповіла я і принялась за свою роботу.

— Ну, ну, — каже він шептом і знов хоче погладити мене, — тілько не фирмайся! Так ти кажеш, що вже три роки тут служиш?

— Не служжу! — відповіла я різко, — я тут у свого вуйка.

Немов холодною водою облили його ті слова. Став витрішивши широко очі і нічого більше не говорив, тілько по лиці якась тінь пробігла: видно, вдумувався в мое положене. В тій хвилі отворилися двері від покою, вбігла старша панна з тацою, і також оставила побачивши офіцера.

— А, пан лейтенант! — скрикнула вона, не знаючи, чи радувати ся його приходови, чи гнівати ся на мене. — То так пан додержує слова? Чи то тепер у вас сема година?

— Даруйте пані, — сказав офіцер кланяючись, — мусів патролі розводити, то й запізнився.

І вони пішли до покою.

Не знаю, для чого я була дуже люта на нього, аж слізки крутилися у мене на очах, хоч рівночасно в душі я мусіла-б була призвати ся, що він мені сподобався. В його лиці

видно було доброту і лагідність, а йою зачудуване, коли почув, що я кузинка панів, та-кож съвідчило на його користь.

Попрятавши я сїла знов у своїм кутику і прислухувала ся гомонови гостій. Серце мое било ся якось незвичайно і я старала ся ловити вухом і розпізнавати його голос. Говорив просто, без звичайного у многих офіцерів сілуваного різкого тону. Говорив коротко і мало. I се також мені подобало ся.

На другий день перший раз панни накинули ся на мене з лайкою. „Ти опудало, ти непотрібе, як ти съміла йому показувати ся на очі!“ Я заплакала і сказала, що я съому не винна, що прийшов несподівано і сам перший заговорив до мене. Що зачіпав мене так, як молоді паничі звичайно зачіпають служниць, се я стидалась і бояла ся казати їм. Змякли панни, почали мене цілувати, купили мені хустку за 5 ринських і просили, щоб я все, скоро зійдуть ся гості, гасила съвітло в кухні і сиділа в потемках. З усього я порозуміла, що той офіцер і їм дуже сподобав ся. Але якийже був іх сум, коли на другий четвер він не вважаючи на запросини не явив ся. Тисячні здогади, кваси і ґримаси, навіть на мене почали було гримати, коли в тім прийшов віднього лист. Звиняв ся тим, що був комендерований на патроль.

За кілька день, коли я ранісінько пішла по воду, чую, що хтось із заду кладе мені руку на плечі. Оглянула ся — він.

— Добрийдень вам, панно Ромуальдо !
(Відкісся і ім'я мое довідав ся !)

— Добрий день пану, — кажу і затремтіла чогось.

Почав іти поруч зо мною, хоч я несла коновки в обох руках. На вулиці було ще пусто. Мовчав добру хвилю і приглядав ся мені в поранковім півсумерку.

— Бідне дитя, — сказав вкінці. — Значить, вуйко не став для вас батьком.

— Мій вуйко добрий чоловік, — сказала я, не підводячи до нього очей.

— Знаю, знаю, — сказав з легким усміхом у голосі.

Знов помовчав, Ми вже були близько студні, при котрій стояли дві-три служниці.

— Ви ходите часом на пошту ? — спитав він раптом, немов проکинувшись із якоїсь задуми.

— Вуйко посилає за газетою.

— Там на ваше імя є лист poste restante. Ви вмієте читати ?

— Ну, якжеж би не вміла ?

— І не забудете ? poste restante, саме ім'я, без прізвища. Прочитайте його ! Подумайте над тим, що вам пишу. Я не маю нагоди говорити з вами, то задумав написати вам. Прощайте !

І не дожидаючи ся моєї відповіди він швидко пішов.

У мене мов камінь у груди заляг замісь серця. Лист до мене! Від нього! І чого йому від мене треба? Чейже нічого злого? Виглядає як чоловік поважний, котрий знає, що робить. А зла ніякого я йому не зробила, то за що ж він мав би мені злом платити?

Тяжко мені було укрити своє зворушення перед паннами. Весь ранок я була мов сама не своя, все дожидала ся десятої години, коли звичайно мене посилають на пошту по газету для вуйка. Закотурмавши голову хусткою я побігла на пошту і протиснула ся до дерев'яних крат, із за котрих експедиторка видавала листи *poste restante*.

— Прошу пані, чи нема там листу „Ромуальда“? — сказала я таким непевним і дрожачим голосом, що кількох панів, які також стояли перед кратками, зазирнули ся до мене з насмішливими, як мені бачило ся, поглядами.

Експедиторка почала перебирати листи в шафці.

— А відки се має бути лист? — спітала вона.

— Місцевий, — ладви вищептала я закриваючи лицє хусткою.

В тій хвилі в моїх руках опинився невеличкий подовгастий лист. Я стиснула його

і вся затрусила ся, немов узяла в руку жменю приску. Вибігши з канцелярії, я стала при вікні таки там, у коридорі поштового будинку, аби прочитати той лист. Я знала, що дома не буду мати змоги прочитати його украдком. Дрожачою рукою я розірвала коверту і виняла аркушік білого листового паперу. Письмо було гарне, читке, але літери кілька хвиль немов скакали, немов палахкотіли у мене перед очима. Далі я заспокоїла ся трохи і прочитала ось що:

„В тих днях виїжджаю до Перемишля і не буду більше в домі вашого вуйка. Не хочу навіть бути там — для чого, зараз доміркуєте ся. Я побачив ваше нещасне положене і з вуйком вашим говорив про вас. Колиб я сказав, що люблю вас, то ви мали би право неувірити мені, бо як же можна полюбити когось, не знаючи його близьше? Для того не буду говорити вам про любов, а тільки скажу ось що. Я бідний офіцер, з простого роду. Бурлацьке житє осто гидло мені, хоче ся закоштувати хоч троха тепла родинного гнізда. Родини власної у мене нема, женити ся без кавції не можна, такої дівчини, котра б зложила за мене кавцію і при тім була мені до вподоби, я певно не знайду, а продавати себе за кавцію в мужі такій, котрої я не можу любити — також не хочу. А тимчасом моя місячна плата хоч сяк-так вистарчав на удер-

жане родини. Щож маю робити? Правні дороги для мене замкнені, сама устава пхас мене на неправні. Я знаю вас як чесну дівчину і не повинен би користати з вашого сумного положеня. Але я знаю, що те положене безвихідне і для того думаю, що ліпше вам буде статись мовю, хоч нешлюбною дружиною, ніж вічною служницею своїх кузинок. Будемо жити разом, будемо обходити ся тим, що мәємо, а коли дослужу ся вищої ранги, то виступлю зі служби і тоді поберемо ся. Не буду тайти перед вами, що се не легка і не швидка річ. Але може трафити ся війна, я можу в ній віданачити ся, і тоді діло піде красше. Міркуйте як знаєте. Скажу вам тілько про себе дещо. Я чоловік простий, тихий, виріс у бідності, привик до скромного житя і праці, і коли правда те, що я чув про вас, то мені здає ся, що полюблю вас. Коли зважитеесь іти зо мною, то будьте в суботу вечером з усіми своїми пакунками на двірці зелізниці. Я добуду вам білет. На всякий спосіб у суботу вечером буду ждати на двірці. Коли не прибудете — ваша воля, я певно вам того не візьму за зло. А коли прибудете, то до побаченя!“

Як бачите, я добре вивчила на память той лист. Він і доси є у мене — одинока памятка моого щастя. Читаючи його я чула, що вся обливаю ся румянцем, то знов блідну. Мене кинуло в дрож по прочитаню і я не знала,

що з собою робити, куди сковати папір, куди йти і що думати. Мені пригадало ся, як колись мама цілувала й пестила мене і вишкувала для мене що найкрасших і найбогатших женихів, а пізнійше, коли я почала підростати, все остерігала мене перед військовими. Мені пригадали ся зачуті часом розмови кузинок про офіцерів, про їх неморальне життя, про дівчат, котрих вони удержануть а по якімось часі прогоняють і віддають на ганьбу, і мені страшно стало того листа, який я сковала на груди під корсеткою. Так і бачилось мені, що там заворушила ся холодна гадюка. Але опісля погадала я про своє нуждення і безвихідне положення, про те, що й самі мої кузинки не богато-б надумували ся, коли-б перший ліпший офіцер предложив їм те, що мені, — далі стало мені перед очима гарне, всъміхнене лице моєго офіцера, його мягкий голос, привітливі рухи, а особливо його очі ясні, глибокі та щирі, і я вже тоді почула, що не устою ся против сеї першої в моїм житю покуси, що піду туди, куди мене кличе надія хоч недовгого і дорого оплаченого щастя.

До суботи було ще три дни, але в тих трьох днях я майже нічого не думала про свою будущину. Я прожила ті три дни в якійсь ненастаний горячці, в якійсь нетямі, в страсії надії ураз. А в суботу вечером, коли мої кузинки з батьком вийшли на прохід, я пере-

брала ся в що мала найліште і зібравши свої річи в невеличкий пакунок пішла на дворець зелізної дороги, не оглядаючись, не кажучи нікому ані слова, і тілько вже з Перемишля написала вуйкови лист, подякувала йому за хліб, за сіль, і сказала, що я пішла до нового обовязку.



V.

 Та що я буду нудити вас довгим оповіданем !
Офіцер мій був дуже добрий чоловік . За
того півтора року, що ми жили разом, я не
чула від нього злого слова . Після тяжкої шко-
ли, яку я пройшла у вуйка, він був для мене
як сонічне світло й тепло . Приголубив мене,
звільнив від тяжкої праці, дав віддихнути сво-
біднійше, говорив зо мною як з рівною, любив
мене як сестру . За кілька неділь я віджила,
прийшла до себе . Вийду бувало на місто —
люди на мене оглядають ся, а нераз чую, що
й шепчуть паничі : „Що за гарна панночка !“
Офіцер посправляв мені убранє, і видно, що
любив мене, бо вишукував тисячні нагоди, щоб
зробити мені приємність ; приносив дарунки,
книжки, цьвіти .

Одно тільки стало ся не так, як я ду-
мала ; ми не жили разом . Йому велено з при-
чин службових жити в касарні, — ну, а я не

могла там бути з ним разом. Винайшов мені кватирку — один покоїк гарний, мебльований; с travувалась я у сусідки, жінки якогось ремесника, а він приходив до мене в вільні від служби часи, звичайно на ніч. Ми пили разом чай і розмовляли до півночи. Він оповідав мені про своє життя, про свою службу й її трудності, про те, що діє ся в світі. Я сиділа, очій з нього не зводячи, і бачилось, була-б його слухала всю ніч. Цілий день сидиш сама, читаєш, шиєш, у вікно глядиш, то й рада живому голосови людському. А він так гарно вмів оповідати!...

— Ромцю, ну розкажиж ти що про себе, — каже він бувало.

Я чула, що люблю його і в минії родилося бажання удержати при собі його любов, тож я не давала ніколи просити себе. Мені хотілося показати йому, що я не така дурна та неосвічена гуска. Я розповідала найменші дрібниці зі свого життя з тим горячим бажанням, щоб заняти його, і нераз він слухає, слухає, тай почне цілувати мене, пригорне до себе тай каже:

— Бідна дитино! Чи те з тебе могло бути, як би доля була тобі всміхнула ся!

Коли з часом вичерпалось усе, що я знала про своє життя, я розказувала йому те, що читала і передумала в день. І се також займало його.

— Нудно тобі, мое серденько, — говорить він бувало, — та що вже діяти. Такі ми обов'їдні зійшли ся. Ти думаєш, мені не ллє ся нераз вухам моя служба? Потерпімо, Ромцю, ще пару літ, чей то якось інакше буде.

— Милій мій, — кажу йому на те, — хибаж я перед тобою жалую ся на нудоту? Мені не нудно. Я все собі знайду роботу, то чого мені нудити ся! А коли подумаю, з якого пекла ти мене вирвав і яка я тепер щаслива, то нераз приходить мені в голову: Господи, чи не за много се щастя для мене? Знаєш, я від малку привикла бояти ся щастя і все думаю, що за кожде щастє прийде ся відпокутувати, як за яку тяжку провину. Принаймні мені доси все так трафляло ся.

В часі жжив йому прийшлося іти на маневри, і ми мусіли розстати ся на пару неділь. Позаплачував він за мене все і прощаючи ся не казав нічого, як тільки: „Не забудь за мене, Ромцю! Я тебе люблю!“ Вірив мені, що я не зраджу його, хоч і не зінав ще, що у мене був плід його любові. Я від кількох днів спостерегла се і не хотіла йому нічого казати, але тільки тепер почула в повні, як дуже я люблю його. На його слова я розплакалась і повисла на його шиї, цілувала його уста і очі, не можучи нічого промовити, як тілько:

— Милий мій!... Любий!... Золотий!...

Скучно було по його від'їзді. Духота в місті, порох. Вийду було за місто, над Сян, сяду на березі десь у такім закутку, щоб мене ніхто не бачив, тай цілими годинами дивлюсь на воду.

Ой сяду я на шпилечок —

Та рине вода, рине...

Ой і не дайте мене за нелюба,

Та нехай він загине!

Сі слова і мельодія так і снують ся мені по голові, коли під моїми ногами мерехтить та ховзається ся хвиля за хвилею, без кінця і спочинку. І думається мені бувало: Що се таке — вода? Для чого вона мусить усе бігти? Відки її там у горах стілько набирає ся? Нераз мене так і манило щось кинути ся в її таємничу, кришталеву глибину. Підімною звільна плавали грубі, червоноопері клені, увивали ся серебрні уклії, ліниво в глубині дрімали товсті коропи, та вигрівала ся на самім бережку пажирлива щука, простягши ся непорушно мов поліно, і я думала, що там у воді і живе і порядки мусять бути далеко ліпші, сумирнійші, ніж у нас. А інколи задивлю ся було на хвилі, і мені бачить ся, що й ціле живе наше, з усім його горем, з усіми радощами й надіями — не що інше, як ось така хвиля. Одна близкуча,

друга мутна. Одна шумить і клекоче, друга тихо ледви чутно сковане по поверхні і пропаде безслідно. Чи ж не таке саме й живе наше? І хотілось би мені нераз кинути ся в ті кришталеві хвилі, пірнути в них і розплисти ся. І то не з біди, бо я тоді не бідувала. Від'їжжаючи він лишив мені дещо грошей, заплатив за хату і страву, а якіж крім цього мої видатки? І про будуще я не думала. Я чула за собою опору — його, і бачила тільки одну ціль перед собою, щоб удержати при собі його любов, осолодити його жите. І коли часом мені хотілося пірнути в отих чистих хвилях, то тільки з якогось неясного почуття, що там було-б мені якось дуже спокійно і любо, що я плила-б кудись вічно без власної волі і думки, гойдалась на хвилях і не потребувала-б ані думати ані дбати ні про що.

Але ось минув місяць, скінчилися маневри, він повернув утомлений, запилений, обшарпаний, але здоров і веселий. Прийшлося мені добре попрацювати, щоб привести до ладу його білизну і убранство, але праця та була для мене правдивою роскішю. Він одержав кілько-дневий урльоп для спочинку і весь час просиджував у мене. Ми ненастально розмовляли, оповідали собі про своє жите в розлуці. Він розказував, що бачив цісаря і що цісар навіть похвалив його за мудре виконане якогось маневру. Ми радувалися обоє, бо цісарська по-

хвала богато значить і при авансії. Кілька разів ми ходили обов'я на прохід, звичайно над Сян, на мое улюблене місце в лозах. Він спривив собі вудку і ловив рибу, але звичайно не міг нічого зловити. Та все таки ті дні були може найщасливіші в моїм життю. Сидимо отак обов'я поруч, глядимо на поплавок і не говоримо нічого, а тільки чуємо близькість одно одного і знаємо, що одно за одно готове віддати все.

Ну, ну, не сьмійте ся! Бувають такі хвили в життю кожного чоловіка. Не конче тілько в книжках мусимо читати про них.



VI.



— *С*лухай Ромцю! Мені дуже пiti хоче ся!

— І мені також — сказала я.

Ми вертали власне з проходу на Сян. Він уже від кількох неділь повернув до служби, але коли тільки мав вільний пополудень, приходив до мене, я ждала його вже одіта і ми йшли на Сян.

— Знаєш що, зайдімо сюди до реставрації на пиво.

Мені чогось ніякovo стало при тих словах.

— А може-б лішше піти до дому і казати принести пива? — сказала я.

— Е, що то за пиво буде! Тут ліпше! Ходи лишень! Чи боїш ся?

Я нічого не відповіла, ҳоч справді бояла ся не знати чого. Ми сіли при столі. Він замовив пиво. По хвилі підійшов до нас офіцер, його знайомий, проговорив до нього кілька слів, салютував і пішов. Ще ми не допили



пива, коли прийшов інший офіцер, присів коло нас, побалакав з ним і якось дивно впер очі в мене, при чім я завважила, що мій Олесь змішав ся. Офіцер устав, салютував і пішов. І ми також пішли. Олесь був якийсь сквашений, мов сам не свій.

— Милій мій! — кажу до нього, — тобі неприємно було, що той офіцер так уперто вдивляв ся в мене?

— Дурень! — буркнув Олесь крізь зуби.

— Ні, любий, не говори сього, — сказала я. — Самі ми винні, що пішли до реста-врації, де всякому вільно вдивляти ся в мене.

— Як би ти була моя шлюбна жінка, то ніхто-б не посмів. А так... А й так він, дурень, повинен мати на стілько делікатності!..

Я чула, що в його груди кипіло і варило ся, що гнів здавлював йому горло, і аж тепер пізнала, як сильно він полюбив мене.

— Милій мій, — кажу йому, коли ми прийшли до дому. — Заспокій ся! Забудь про се! Я тобі скажу щось веселійшого!

— Що таке? — понуро промовив він.

Мене холодом обляли ті слова і той тон і той погляд, яким він змірив мене, і я рада-б була взяти назад своє слово і лишила признання на ліпшу хвилю, але годі було. Я обняла його за шию, нахилила до себе його голову і шепнула йому до уха ті слова, котрі мене саму

нераз наповняли якоюсь невимовною радістю і втіхою.

Його вони зовсім не врадували. Якась нехіть і трівога, щось навіть немов обриджене проблеснули в його очах. Страшенно заболів мене той погляд. Але і недобрий вираз його і біль у моїм нутрі тревали тільки хвилину.

Він прояснів, обняв мене, почав цілувати і розпитувати, як, що, коли. І мені було любо звірити ся перед ним з тайною, про котру я доси нікому ані слова не сказала. І який він був мілий, коли по якімось часі почав говорити про ріжні прибори, потрібні для ожиданого гостя, і то так поважно, немов би той гість мав прибути завтра. І як сердечно ми обов'єміялися, коли я сказала йому, що такі прибори я вже вільними хвилями поприлагоджувала, такі й такі знайомості поробила, значить, йому тут нічим турбувати ся.

Чудесно провели ми той вечір. Вишили бутельчину вина за здоровлє будущого, жартували, навіть на спів зложилися голосами. Але я почула, що від того часу з ним зайдла якась зміна. Часто бував понурий, мов згризений. Нераз серед розмови уривав на півслові, немов туманів або шукав розблоканих думок. А про своє життя в касарні, про свої відносини до інших офіцірів ніколи ані слова. Навіть просив мене, щоб його ніколи не питати про те. З того я доміркувала ся, що мусів мати

пива, коли прийшов інший офіцер, присів коло нас, побалакав з ним і якось дивно впер очі в мене, при чім я завважила, що мій Олесь змішав ся. Офіцер устав, салютував і пішов. І ми також пішли. Олесь був якийсь сквашений, мов сам не свій.

— Милій мій! — кажу до нього, — тобі неприємно було, що той офіцер так уперто вдивляв ся в мене?

— Дурень! — буркнув Олесь крізь зуби.

— Ні, любий, не говори сього, — сказала я. — Самі ми винні, що пішли до рестаурації, де всякому вільно вдивляти ся в мене.

— Як би ти була моя шлюбна жінка, то ніхто-б не посьмів. А так... А й так він, дурень, повинен мати на стілько делікатності!..

Я чула, що в його груди кипіло і варило ся, що гнів здавлював йому горло, і аж тепер пізнала, як сильно він полюбив мене.

— Милій мій, — кажу йому, коли ми прийшли до дому. — Заспокій ся! Забудь про се! Я тобі скажу щось веселійшого!

— Що таке? — понуро промовив він.

Мене холодом обляли ті слова і той тон і той погляд, яким він змірив мене, і я рада-б була взяти назад своє слово і лишити признання на ліпшу хвилю, але годі було. Я обняла його за шию, нахилила до себе його голову і шепнула йому до уха ті слова, котрі мене саму

нераз наповняли якоюсь невимовою радістю і втіхою.

Його вони зовсім не врадували. Якась нехіть і трівога, щось навіть немов обриджене проблеснули в його очах. Страшенно заболів мене той погляд. Але і недобрий вираз його і біль у моїм нутрі тревали тільки хвилину.

Він прояснів, обняв мене, почав цілувати і розпитувати, як, що, коли. І мені було любо звірити ся перед ним з тайною, про котру я доси нікому ані слова не сказала. І який він був мілий, коли по якімось часі почав говорити про ріжні прибори, потрібні для ожиданого гостя, і то так поважно, немов би той гість мав прибути завтра. І як сердечно ми обов'єміялися, коли я сказала йому, що такі прибори я вже вільними хвилями поприлагоджувала, такі й такі знайомості поробила, значить, йому тут нічим турбувати ся.

Чудесно провели ми той вечір. Вишили бутельчину вина за здоровл€ будущого, жартували, навіть на спів зложили ся голосами. Але я почула, що від того часу з ним зайдла якась зміна. Часто бував понурий, мов згризений. Нераз серед розмови уривав на півслові, немов туманів або шукав розблуканих думок. А про своє житє в касарнї, про свої відносини до інших офіцирів ніколи ані слова. Навіть просив мене, щоб його ніколи не питати про те. З того я доміркувала ся, що мусів мати

якісь неприємності, і мучила ся тою думкою, що може се все ізга мене.

І так між нами звільна почала залягати темна хмарка. Кожде з нас мало якусь гризоту, котрою бояло ся чи не хотіло поділити ся з другим. Одно тілько вязало нас — думка про будуще дитя. Ми розмовляли про нього як про щось, що вже єсть, бігає, гомонить і сьміє ся, любували ся ним, турбували ся, щоб де не вдарило ся, не впало, не перестудило ся, обговорювали, що треба буде змінити квартиру, приняти служницю, міркували, кілько се буде коштувати. І з усього того я бачила одно, що він мене любить, і почувала ще більшу вдачність і любов для нього.

Надійшла зима, і він знов почав рідше бувати у мене. Служба зупиняла його. Нераз бувало так, що ѹ цілий тиждень не міг явити ся. Я познайомила ся з кількома сусідками — жінками ремісників та зарібників, бо до „пань“ урядничок та професорок бояла ся підходити, чуючи, що моглиб мене відіпхнути. А серед тих темних і бідних жінок я знайшла більше щирості і поради. Я стрібувала навіть через них перепитувати за деякою роботою, щоб заробити що будь на удержанє своє і своєї дитини. Я вміла шити і брала шите до дому. Далі че́рез одну служницю, що услугувала у одного професора, мені трафив ся добрий заробок — переписувати на чисто якусь книжку,

що той професор сам написав. Я пишу гарно і швидко, і присівши твердо до роботи, за два місяці заробила щось п'ятьдесят ринських. Олесьови я нічого не казала про свої заробітки; боялась, щоб він не прогнівався. Довідавсь однаке по якімось часі, мабуть від того самого професора, взяв мене на екзамен і розвідавши все, нічого не сказав, тільки поцілував у очі і опісля якось сумно замислившись прошептав: „Бідне дитя!“

В маї нарешті я родила. Дитя було гарне як ангел, але мені було не весело глядючи на нього. Аж тепер я почала думати над своєю будущиною і будущиною своєї до-нечки. Що з неї буде? Чи те саме, що з мене? І я, що доси нераз Богу дякувала за своє щастя, раптом почула якусь невимовну трівогу. Боже мій! І щож таки я на правду? Удержанка і більше нічого! Чи широко чи є широко говорить Олесь про свій будущий аванс, про намір одружити ся зо мною, а все таки тепер справа через се не зміняється. Тепер я зрозуміла милосерні погляди, таємні зіткнання та похитування головою моїх сусідок, бідних зарібницьких жінок, зрозуміла ті уривані слова, коли річ зайшла про Олеся, ті шептання, коли в хату війшла яка нова сусідка, ті тисячні дрібниці, котрі хоч і не були призначенні на те, щоб мене шпигати і ранити (ті жінки дуже добре розуміли мое положене, бо більша

часть із них і самі перейшли через нього в своїй молодості), та все таки дуже боліли і смутили мене.

Олесьови я нічого не говорила про свої муки, бо і по що? Коли він мене любить — думалось мені, — то певно й сам так само мучить ся, а коли ні, то не варто. А він справді мучив ся. Маленьку нашу цілював і милував як мати, не як батько, і часом я бачила, що коли дивив ся на неї сплячу, то сльози наверталися у нього на очі. І що мені було йому говорити? Оставалося ся тільки ждати і бути терпливою.



VII.



По трьох місяцях наша дівчинка вмерла.

Олесь зачав рідше бувати в мене. Літні марші, далі маневри, далі знов якась служба — цілими тижнями, а далі й по довше не бував у мене. Наші стрічі були холодні і короткі. Здавало ся, що зі смертю дитини улетіло наше щастє і те тепло, котре давнійше пройшло нас обов, коли ми були з собою. По маневрах він захорував і пролежав більше місяця. Написав мені, щоб я сиділа дома і не важила ся приходити до нього. Що я витерпіла за той час!...

Аж на третім тижні я дізнала ся, що він мав поєдинок із за мене. Ті офіцери, що тоді підходили до нас у реставрації, здібавши ся з ним під час маневрів (вони були львівські) почали розпитувати його про ту даму, що сиділа з ним, і чому він їм її не представив, і при тім сказали про мене щось такого, що

Олесь візвав їх обох на поєдинок. Отже одного він ранив, а другий ранив його, і то досить небезпечно. Се я дізнала ся від одного жовніра з його компанії, котрого просто зачепила з вікна.

Я не могла довше витримати, побігла до нього. З тяжкою бідою я вимогла, що мене до нього допустили. Він лежав на постели, блідий як крейда, помарнілій. Куля попала йому в груди і тільки дивним припадком не положила його на місці трупом.

Ридаючи я припала до нього, цілуvalа його ноги і руки. І він розплакався.

— Ну, чого ти! Чого ти! — повторяв.
— Тут тобі не можна бути. Іди до дому, я тобі напишу.

Довго я не хотіла вступити ся, аж коли првйшов доктор і сказав мені, що він буде здоров, але тепер ще потрібно йому спокою, я пішла.

Він не писав мені, але по кількох тижнях сам прийшов. З якою нетерплячкою, з яким неспокоєм я ждала його! Якими чудовими фарбами малювала собі першу стрічку з ним по тій страшній пробі, як твердо божилася, що все, все живе своє, працю і всі помисли віддам для нього! А коли прийшов і глянув на мене і мовчки сів на крісло — я від разу почула, що між нами все скінчене, що нам треба

розстати ся, що те, що дальше буде, то буде тільки довше чи коротше прощане.

Прощане вийшло коротке. Він сказав мені зараз, що його аванс пропав тепер на довгий час і що його за кару перенесено до Араду — пильнувати військової тюрми, і що він за тиждень мусить вибирати ся в дорогу.

Я вислухала його слів, як холодний стовп. Він почав потішати мене, говорив, що ніколи не забуде про мене, що буде писати мені, — але я знала, що він сам потребує потіхи. Від'їжджаючи він дав мені трохи грошей на життя і пару листів до своїх знайомих і радив пошукати собі якого обовязку.

Я спродаала дещо зі своєї гардероби і на разі не потребувала журиги ся житем, могла в крайнім разі переждати пару неділь, поки би щось добре трафило ся. Але обовязок трафив ся зараз, у того самого професора, котрому я переписувала книжку. Професор був добрий чоловік, але жінка його почала ревнувати мене до мужа і по двох місяцях, серед зими, я мусіла уступити зі служби.

Я кинула ся до інших Олесьових знайомих, до котрих мала листи, але назнала стілько прикростій і сорому, що плюнула на все. Всі вони знали мою історію, всі ззорали ся на мене, як на звіря, посылали мене одні до других, щоб усі побачили ту „лайдачку“, що звела і знищила такого доброго і здібного чо-

ловіка". Ті слова сказав мені при кінці один старий ротмістр, до котрого мене також послано за обовязком.

Після цього я вже дальше не ходила, а поїхала до Львова. Тут я зупинила ся в однім жидівськім готелі і почала знов шукати якогось обовязку. Але обовязку не було, грошей не стало, пару день я бігала як одуріла, цілий день опісля сиділа в отушіні в своїм покоїку, поки до мене не підійшов кельнер і не сказав мені кількох слів. Я останками крові вся почервоніла ся від тих слів, скочила мов на грани, але кельнер не вступав ся, я не втекла, не могла втекти вікуди від своєї долі...

Я нераз бачила, як галузка відірвана від дерева плине по воді, доки не попаде в крутіж. І тут ще разу пливе вона спокійно, описує далекі круги; але чим далі, тим круги вузші, рух її швидший, поки течія не змелє нею і не кине в спінене гирло, де вона й пропадає. Чи винна гилька, чи винна вода, що так воно діє ся?...

Львів, 20. марта до 9. цвітня 1890.



ЧИ ВДУРІЛА?

Сцена.

(Бідно, але з деякою претензією на ліпший смак умебльований готелевий покій. Ліжко, sofa обита червоним плюшем, стіл з цвитучими хрізантемами в вазоніку. З боку столик закинений фотографіями та мальованими картками. Одноке вікно заслонене червоною фіранкою, крізь яку просвічує сонце, кидаючи на ліжко червону квадратову пляму. В куті біля дверей умивальник, насупротив нього великий куфер застелений барвистими коциком. Над столиком на стіні зеркало. Кілька крісел, на однім із них жіночі сукні покинені безладно, на другім мужеське пальто, елегантна паличка і циліндер.

ЮЛІЯН, молодий, вродливий панич, власне кінчить туалету перед зеркалом, розчісую щіткою на голові рідке волосе і роскішні баки, підкручує вуси.

КАМІЛЯ, вродлива брунетка, лежить на ліжку накрита ковдрою, скультивши ся, немов змерзла, і слідить очима його рухи.

З надвору долітає ненастаний туркіт возів і томін вуличного руху, троха пізніше гук дзвонів.)

Каміля.

Вже одягаєш ся, бльондинику?

Юліян.

(Не обертаючи ся до неї, перед зеркалом.) Так.

Маніпулянта.

12

Каміля.

Хочеш іти геть?

Юліян.

А вже. Хиба не пора?

Каміля.

А хиба пора? Ще дуже рано. Думаю, що ще нема шестої.

Юліян.

Ну, шеста в червні, то вже зовсім не рано. Ади, по тім сьвітлі на твоїм ліжку можна пізнати, як високо вже сонце.

Каміля. (Здрігнула ся.)

Яке дивне сьвітло! Як кровава пляма.

Юліян.

Се від фіранки.

Каміля. (Відкидає ковдру і встає з ліжка.)

(На ній лише довга, біла сорочка.) Душно! Сядь іште. Не відходи.

Юліян.

По що сідати? Треба йти. І так забарив ся. Там десь мої турбують ся, що мене цілу ніч дома не було.

Каміля. (Надягає на себе спідницю й кафтаник, весело.)

Га, га, га! Певно дадуть знати на поліцію, що десь дитина заблукала ся. Хто би знайшов...

Юліян.

Ти в дуже веселім настрою, а я ні.

Каміля.

Ось сядь лишень (тягне його до себе на софу), побалакаємо... може я й тобі піддам веселого гумору.

Юліян. (Легенько опирає ся.)

Ні, пусті мене. Справді мушу йти.

Каміля.

Алеж хлопче! Шеста година в ранці!
Куди ти підеш? Ще всі брами позамикані.
Ще всі порядні люди сплять! Ну, обійми мене!
Поцілуй мене! (Обіймає його.) Так як учора.
Яж твоя жіночка, правда?

Юліян.

Вчора була.

Каміля.

А сьогодня вже ні?

Юліян.

Що добре, того не треба за богато. За тиждень знов будеш.

Каміля. (Відвертає ся.)

Ти недобрий! Не любиш мене! Серджуся на тебе.

Юліан.

От і бач. Найлішче, я піду собі, а за пару день ти пересердиш ся і знов усе буде доброе.

Каміля.

Он як! Буде доброе? А може не буде? Може я не захочу?

Юліан.

То як схочеш. Не захочеш ти, то захоче друга, третя, котра будь. Хиба мало вас таких? (Надягає сурдуг.)

Каміля.

(Зіскакує як ужалена.) Нас... таких! Ах, правда... Ха, ха, ха!... Твоя правда. Я не маю права не хотіти. Я мушу хотітн... І знов буде доброе. (Наближає ся до нього, тихіше.) Слухай, Юльку, та не вже ти так таки зовсім, ані крихітки, ані дрібочки не любиш мене?

Юліан. (Протирає хусткою цвікера, спокійно дивить ся на неї.)

Слухай, Каміля. Не розумію тебе. Чого тобі треба від мене? Се ти вже не перший раз заговорюєш із сеї бочки. Знаєш добре, хто ти. Знаєш, що я твій гість. Прийду, зроблю що треба, заплачу що належить ся і піду. Коли приходжу, люблю тебе як голодний теплу страву аб чарку горілки. А коли голодний на-

ситить ся і напеть ся, то яке йому діло до тих котлетів чи клюсок? Заплатив і йде собі геть.

Каміля. (Хапає його за руки і силкує ся заглянути йому в очі.)

Господи, який ти розумний! І де ви такі розумні паничі берете ся! Котлетка, чарка горілки — і дівчина, се зовсім усе одно. Ся смакує так, та так, а онта он як. Посмакував, а до решти йому байдуже. А може та жива котлетка має серце? Може в тій чарці — жива кров? Може у неї є якесь чутє, якісь бажання, якісь... ха, ха, ха!... якісь ідеали?..

Юліян. (Злегка вириває свої руки з її рук, байдужно.)

Па, кіцю! (Щілує її в уста.) До побаченя. Ти зачинаєш уже зовсім пусте балакати. Я не маю часу слухати твоїх витребеньків.

Каміля. (Обхоплює його руками за шию.)

Юлечку! Любий мій! Не йди ще! Хибаж ти не бачиш, як я тебе люблю? Дуже, дуже люблю! Хиба не бачиш, що я без тебе жити не можу?

Юліян.

Ха, ха, ха!

Каміля.

Не съмій ся, соколе мій! Хиба се съмішио?

Юліян.

Ха, ха, ха! А вже ж съмішно.

Каміля.

Чого съмішно?

Юліян.

Хибаж не съмішно? Так як коли би чоловік по шию в воді стояв і кричав: Пити! пити! Гину зо спраги!

Каміля.

Не в воді, а в калюжі! В калюжі, соколе мій, у багні. І спрага мучить мене... за крапелиною чистої води... чистої любови... за крапелиною надії на якийсь вихід із цього житя. Юлечку, любий мій! Не відвертай ся! Шорадь мені! Вирви мене з сеї калюжі. Або хоч покажи мені дорогу... зроби надію... одури мене надією хоч на день... хоч на хвилю! (Пригортася до нього,) Ти не знаєш, яке тяжке, яке страшне мое житє! Не знаєш, які думки нераз напосідають... Ні, я не буду оповідати тобі... Я знаю, в тебе серце мягкое, добре. Юлечку, зглянь ся на мене!..

Юліян. (Схрещує руки на грудях і глядить на неї з гори.)

Знаєш, Каміля, з ріжних роль, у яких я бачив тебе, ся найменше вдатна і найменше тобі до лица. Ліпше покинь гратеги сю комедію. Бувай здоровова! (Хоче йти.)

Каміля. (Забігає йому дорогу, хапає його за руку.)

Ні, стій! Зажди ще хвилину. Я ж мала тобі щось сказати... щось дуже важне... дуже цікаве...

Юліян. (Сердито.)

Ну, що таке? Кажи скоро.

Каміля.

Скоро? Чому скоро? Чого квапити ся?
Ходи сюди! Сядь. (Садовить його на крісло). Дай сюди капелюх і палицю. (Бере і кладе на бік.) Так. А тепер слухай!

(Здалека чути голос дзвонів).

Каміля.

Га! Чуєш? Дзвонять.

Юліян. (Байдужно.)

Тай що з того? Дзвонять на утреню, бо сьогодня неділя.

Каміля.

Неділя? А котрого сьогодні маємо? (Віжить до стінного календаря.) О, я ще від четверга не заглядала до календаря. То сьогодня неділя? А так, учора була субота. (Віддира картку за карткою.) Господи!

Юліян.

А там що таке?

Юліан.

Ха, ха, ха! А вже ж съмішно.

Каміля.

Чого съмішно?

Юліан.

Хибаж не съмішно? Так як коли би чоловік по шию в воді стояв і кричав: Пити! пити! Гину зо спраги!

Каміля.

Не в воді, а в калюжі! В калюжі, соколе мій, у багні. І спрага мучить мене... за крапелиною чистої води... чистої любови... за крапелиною надії на якийсь вихід із сього житя. Юлечку, любий мій! Не відвертай ся! Шорадь мені! Вирви мене з сеї калюжі. Або хоч покажи мені дорогу... зроби надію... одури мене надією хоч на день... хоч на хвилю! (Пригортася до нього,) Ти не знаєш, яке тяжке, яке страшне мое жите! Не знаєш, які думки нераз напосідають... Ні, я не буду оповідати тобі... Я знаю, в тебе серце мягкое, доброе. Юлечку, зглянь ся на мене!..

Юліан. (Схрещує руки на грудях і глядить на неї з гори.)

Знаєш, Каміля, з ріжних роль, у яких я бачив тебе, ся найменше вдатна і найменше тобі до лица. Ліпше покинь грата сю комедію. Бувай здорована! (Хоче йти.)

Каміля. (Забігає йому дорогу, хапає його за руку.)

Ні, стій! Зажди ще хвилину. Я ж мала тобі щось сказати... щось дуже важне... дуже цікаве...

Юліян. (Сердито.)

Ну, що таке? Кажи скоро.

Каміля.

Скоро? Чому скоро? Чого квапити ся?
Ходи сюди! Сядь. (Садовить його на крісло). Дай сюди капелюх і палицю. (Бере і кладе на бік.) Так. А тепер слухай!

(Здалека чути голос дзвонів).

Каміля.

Га! Чуєш? Дзвонять.

Юліян. (Байдужно.)

Тай що з того? Дзвонять на утреню, бо сьогодня неділя.

Каміля.

Неділя? А котрого сьогодні маємо? (Віжити до стінного календаря.) О, я ще від четверга не заглядала до календаря. То сьогодня неділя? А так, учора була субота. (Віддира картку за карткою.) Господи!

Юліян.

А там що таке?

Каміля.

Святої Агати.

Юліян.

Ну, тай що з того?

Каміля. (Тягне його за руку до календаря.)

Ади!

Юліян.

Червоно підкреслене. Ну, тай що з того?

Каміля.

А знаєш чому?

Юліян.

Можуть бути сотні причин.

Каміля.

Одна! одна! Се роковини смерти моєї матери. Сьогодні рік, як раз рік! (Кидає ся йому на груди і ридає). Юлечку! Серце мое! Я не переживу сьогоднішнього дня!

Юліян. (Відсторонює її.)

Ну, справді, з тобою сьогодня щось не тес... Кожда дрібниця дразнить тебе. Найліпше я піду собі, а ти заспокій ся.

Каміля. (З трівогою держить його за руку.)

Ні, ні, ні! Не покидай мене! Тепер у тій хвилині не покидай!

Юліян.

Алеж я мушу йти! Там десь моя мама турбує ся... жде мене...

Каміля. (Видивила ся на нього витріщини очі.)

Твоя... мама? Хиба у тебе е... тут... мама?

Юліян.

А вже...

Каміля.

А ти казав мені...

Юліян.

Е, що я тобі казав! Чи одно каже ся при таких оказіях! Хто би там усьому вірив. От і ти скілько всякої всячини набалакаєш, а про те...

Каміля.

Думаєш, що брешу?

Юліян.

Розумієш ся, що брешеш. Твоє ремесло на брехні фундоване.

Каміля. (Хапається за груди.)

Господи! (Перемагає себе) Ну, так, твоя правда... Звісно, иноді збрешеш... не можна без того. Лише перед одним, соколе мій, перед одним доси я не збрехала ані словом, ані помислом.

Юліан.

Перед ким?

Каміля.

Перед тобою.

Юліан. (Пронічно кланяється)

Mille merci, mademoiselle!

Каміля.

Не кпи! не сьмій ся! Я правду говорю. Ох, як би ти знов, яку наболілу правду! Але ні, я не про се хотіла. Слухай! (Бере його за руку.) Любий мій! Сьогодні роковини смерті моєї матери. Сьогодні рік я ще була чиста, нетикана — як кажуть: чесна. Брехня! Хиба я сьогодні нечесна? Ні, сьогодні я нещаслива, втоптана в болото, погорджена, спроститувана, але в душі, в сумлінню я чесна — слухай, Юльку, я чесна так само або й ще більше, як була торік, при смертній постелі моєї мами.

Юліан.

Щож, се дуже гарно. Хоч сама собі скажи комплімент, коли ніхто інший не каже.

Каміля. (Не вважаючи на сі слова.)

Сьогоднія, коли ти тут, зі мною, ти, якого я одного полюбила з усеї той юрби... моїх гостей... слухай, Юльку! Сьогодні... при тобі.... на память моєї бід-

ної матусі я хочу бути ще раз, раз у житю такою чистою, тихою, доброю, побожною, як була під її крильми. Ах, любий, ти не знаєш, яка вона була гарна, добра, сердечна, яка чесна не тою фальшивою чеснотою, що дбає про зверхній бліск... (Уриває, забувається ся, нараз скрикає.) Мамочко моя! Невже ти бачиш, до чого дійшла твоя едина, улюблена дитина! (Затулює лице руками і тихо плаче. По хвилі.) Та ні, дарма! Що стало ся, вже не відстане ся. (Знов хапає його за руки і довго, пильно вдивлює ся в його лице.) Який ти гарний! Який ти добрий! Юлечку, жите мое! Глянь на мене так ласково, так легко, як ти се вмієш... Отак за серце хапаючи тим любим поглядом. Будь добрий зі мною сьогодні... хоч на годиночку. Я сьогодні в двоє, ні, сто раз нещастливійша, як що дня. Чую себе на новотою бідною, опущеною, самітною сиротою, якою почула себе вперше, коли з нашого дому винесли мою бідну маму і зараз потім магістрацькі урядники позамикали і запечатали всі покої, а мене прогнали в съвіт без милосердя. Той самий глухий жах переходить мою душу, як тоді. Юлечку мій! (Тулить ся до нього.) Польюби мене хоч крихітку! Зглянь ся надомною! Захисти мене!

Юліан.

Чого властиво хочеш від мене?

Каміля. (З близька вдивлює ся пільно йому в очі, шептом.)

Знаєш... ожени ся зі мною.

Юліян. (Відпихає її.)

Чи ти вдуріла?

Каміля.

Ну, не хмур ся! Ну, не сердь ся! Хиба я що злого сказала? Глянь на мене! Хиба я не гарна? не молода? не здорова? І люблю тебе! Юлечку! Клянусь тобі, не знайдеш ніколи другої, щоб так любила тебе. І вдячна тобі буду до смерті... молити ся буду до тебе... бо ти будеш моїм спасителем... Ну, слухай! Що тобі шкодить?

Юліян. (Зриває ся з крісла.)

Ні, ти справді одуріла сьогодня! Не вже ти справді думаєш, що я міг би...? Я, доктор прав, що мушу дбати про опінію загалу, і я міг би женити ся з такою...

Каміля.

Алеж слухай... Не зараз... І властиво чому ж би ні? Ти маючий, не потребуєш ніякої ласки, можеш жити де захочеш... А в тім... дай мені найменший промінчик надії, і я покину се житє... візьми мене за служницю до своєї мами, побачиш, яка я буду добра.

Юліян.

Усе те дурниці, дитино. Фантазії. Ти добра на тім місці, яке займаєш, а на іншім то ще хто знає, як би було. Бувай здорова.

Каміля. (Забігає йому дорогу.)

Ні, ні, ні! Не йди ще! Не відходи такий сердитий! Боже мій! Як я маю просити тебе? Як маю говорити до тебе? Яж бажалаб усе своє серце виложити перед тобою — отак як на тарілці...

Юліян.

Не апетитний кавалок!

Каміля.

І все не те! Все не те говорить ся, що хотілось би! Слухай, Юлечку, там дзвони вигравають. Раніше богослуження йде. А я хотіла би сьогодні бути такою чистою, невинною, як була перед роком, хотіла чути себе знов між людьми людиною. Хотіла чути при своїм боці когось, хто мене любить, хто мене шанує, хто готов захищати мене. Юлечку! Нічого не хочу від тебе! Забудь усе, що я перед хвилюю говорила тобі! Відкиж я приходжу до того, щоб завязувати тобі вік, затроювати тобі життя свою минувшиною?... Ні, ні, се у мене горячка... Лиш одного, одного прошу в тебе. Підохди хвілинку! Ось я зараз уберу ся... Ще маю тут на дні куфра своє жалібне убра-

и... Те саме, в якім проводила свою матусю на кладовище. Ось підожди, я зараз!.. (Хоче відімкнути куфер).

Юліан.

Не розумію. По що та маскарада?

Каміля.

Лиш підожди! Не втечеш? Я за хвилиночку! (Відмикає куфер, перекидає в ньому все і видобуває чорну сукню і інші частини жалібної туалети.) Ось бачиш! Я зараз уберу ся! (Скважно починає одягати ся.)

Юліан.

Але по що? Що це має значити?

Каміля. (Перед зеркалом.)

Зараз! Ось заразісінько. Се дрібниця... Для тебе дрібниця. Надію ся, що цього не відмовиш мені. Адже ти добрій, любий мій хлопчик. Любиш Камілю, правда? Не відмовиш, не відмовиш!

Юліан.

Але що таке?

Каміля. (Стас перед ним уся в чорному, з густим вельоном спущеним на лиці.)

Ади! Правда, прилично? Ніхто не пізнає мене. Не можу скомпромітувати тебе. Правда? Ну, подай мені руку. Отак. (Бере його руку і вкладає за свою.) А тепер ходімо.

Юліян.

Куди?

Каміля.

Проведеш мене отак до костела. Я помо-
лю ся, а ти постоїш, підождеш на мене і про-
ведеш мене знов потім назад до дому. Сеж
недалечко.

Юліян.

До костела? Найлюднійшою площею? В
неділю? Ну, се ти пусте видумала!

Каміля.

Не хочеш?

Юліян.

Не хочу і не можу.

Каміля.

Алеж се недалечко! Ніхто мене не пі-
знає.

Юліян.

Але мене пізнають. Почнуть питати: що
се за дама?

Каміля.

І що з того? Хиба тобі велика річ ска-
зати: наречена, або сестра моого приятеля, або
хто? Хиба тобі першина брехати?

Юліян.

Не хочу.

Каміля.

Юлечку! Прошу тебе! Така мала дрібниця. А мені буде на цілий рік, на ціле жите памятка... І хоч хвилина ілюзії, що я ще чиста, непогорджена, рівноправна між людьми... Що хтось не соромить ся прилюдно йти з мною по вулиці, стояти обік мене в костелі... Юлечку, для тебе се нічого, а для мене — ціле жите... цілий змисл життя! Не відмов мені сього!

Юліан. (Витагає свою руку з її руки.)

Ні, сього не буде. Там у костелі тепер моя мама, мої сестри. Мав ся-б ї з пишна, як би вони побачили мене під руку з чужою дамою.

Каміля.

Та брешеш, брешеш! У тебе тут нема ані мами, ані сестер! Ну, скажи, признай ся, чому не хочеш зробити мені сеї маленької прислуги?

Юліан.

Бо не хочу! Просто не хочу задля тебе компромітувати ся. Не хочу задля тебе брехати. Не хочу йти з тобою по вулиці ані стояти біля тебе в церкві, тай по всьому.

Каміля.

Але сеж така дрібниця! Що за компромітація! Пів годинки часу! А для мене —

Боже, як би ти знов, яке добродійство ти зробиш для мене!

Юліян.

Слухай, дівчино! Ти зовсім одуріла. Чого ти чіпаєш ся мене з такими глупими ідеями? Раз тобі сказано, що нічого з того не буде, то й годі! Бувай здорована! (Відвертає ся.)

Каміля. (Стає в дверех, відкидає на бік вельюн.)

Ах, так ось який ти! Навіть такої дрібниці не хочеш зробити для мене! Такого мізерного знаку, що вважаєш мене людиною, а не лише кусником живого мяса! О, тепер я розумію тебе. Ти без серця! Ти самолюб! Іди! Не хочу більше бачити тебе! (Відкидає його руку.)

Юліян.

(Розлючений.) Малпо! Як ти съмієш! На тобі за се! (Ве її в лицо.) Щоб знала, з ким говориш! (Відходить.)

Каміля. (Обома руками хапається за вдарене лицо. Хвилюється німа, мов приголомщена, потім скрикує нервово.)

Мамочко моя! Мамочко! Бачиш, до чого я дійшла в роковини твої смерти! (Заширає в собі дух і надслухує при дверех.) Пішов! Пішов!... Ні, не можу, не можу довше! (Заломлює руки і бігає по покою.) Мамочко! Поглянь на свою доню! Візьми мене дя себе! (Знов надслухує при дверех.) Пішов! І не вернув ся... не вернеться!

І не треба. По що? Але я? Що зо мною?
Дзвони грають... До церкви кличуть... Не до
церкви, а до мами... До мами! До мами! Ма-
мочко! Біжу до тебе! Любити мій! Зажди!...
Пішов! Е, ні, я тебе догоню, я буду швидше!
(Скаче на вікно, відчиняє його і кидається вниз. За сце-
ною чути короткий, різкий крик, потім глухий стук).

Заслона спадає.

Львів, д. 4—5. липня 1904 р.



Того самого автора вийшли:

П о е з и й:

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|------|
| З вершин і низин (3 кор.), opr. | . | . | К | 4- |
| Мій Ізмаїл (опр.) | . | . | " | 2·40 |
| Зівяле листе (опр.) | . | . | " | 2- |
| Із днів журби (опр.) | . | . | " | 2- |
| Панські жарти | . | . | " | -60 |
| Поеми (опр.) | . | . | " | 1·60 |
| Лис Микита (3-тє вид.) | . | . | " | 1·40 |
| Пригоди Дон Кіхота (2-е вид.) | . | . | " | 1·40 |
| Коваль Бассім (опр.) | . | . | " | 1·60 |
| Абу Касимові канці (2-е вид.) | . | . | " | 1- |

П о в і с т и:

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|------|
| Перехресні стежки (3 кор., opr.) | . | . | К. | 4- |
| Для домашнього огнища | . | . | " | 2- |
| Без праці | . | . | " | -40 |
| Полуйка (опр.) | . | . | " | 1·40 |
| Сім казок (опр.) | . | . | " | 1·40 |
| Коли ще звірі говорили (2-е вид.) | . | . | " | -40 |
| Захар Беркут (2-е вид.) | . | . | " | 2- |
| Добрий заробок (опр.) | . | . | " | 2- |
| Панталаха (опр.) | . | . | " | 2- |
| Малий Мирон (опр.) | . | . | " | 2- |
| З бурливих літ (т. I opr.) | . | . | " | 2-- |

Д р а м и:

| | | | | |
|----------------------------|---|---|----|-----|
| Украдене щастє (2-е вид.) | . | . | К. | -40 |
| Учитель, комедия | . | . | " | -60 |
| Камяна душа | . | . | " | -20 |
| Сон князя Святослава | . | . | " | -80 |
| Едіп царь Софокля, перекл. | . | . | " | -60 |
| Майстер Чирняк | . | . | " | -50 |
| Будка ч. 27 | . | . | " | -50 |

І не треба. По що? Але я? Що зо мною?
Дзвони грають... До церкви кличуть... Не до
церкви, а до мами... До мами! До мами! Ма-
мочко! Біжу до тебе! Любий мій! Зажди!...
Пішов! Е, нї, я тебе догоню, я буду швидше!
(Скаче на вікно, відчиняє його і кидається вниз. За сце-
ною чути короткий, різкий крик, потім глухий стук).

Заслона спадає.

Львів, д. 4—5. липня 1904 р.



Того самого автора вийшли:

П о е з и ї:

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|------|
| З вершин і низин (3 кор.), опр. | . | . | К | 4.— |
| Мій Ізмараїд (опр.) | . | . | " | 2·40 |
| Зівяле листе (опр.) | . | . | " | 2.— |
| Із днів журби (опр.) | . | . | " | 2.— |
| Шаинські жарти | . | . | " | —·60 |
| Поеми (опр.) | . | . | " | 1·60 |
| Лис Микита (3-те вид.) | . | . | " | 1·40 |
| Пригоди Доян Кіхота (2-е вид.) | . | . | " | 1·40 |
| Коваль Бассім (опр.) | . | . | " | 1·60 |
| Абу Касимові канці (2-е вид.) | . | . | " | 1.— |

П о в і с т и:

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|------|
| Перехресні стежки (3 кор., опр.) | . | . | К. | 4.— |
| Для домашнього огнища | . | . | " | 2.— |
| Без праці | . | . | " | —·40 |
| Полуйка (опр.) | . | . | " | 1·40 |
| Сім казок (опр.) | . | . | " | 1·40 |
| Коли ще звірі говорили (2-е вид.) | . | . | " | —·40 |
| Захар Беркут (2-е вид.) | . | . | " | 2.— |
| Добрий заробок (опр.) | . | . | " | 2.— |
| Панталаха (опр.) | . | . | " | 2.— |
| Малий Мирон (опр.) | . | . | " | 2.— |
| З бурливих літ (т. I опр.) | . | . | " | 2.— |

Д р а м и:

| | | | | |
|----------------------------|---|---|----|------|
| Украдене щастя (2-е вид.) | . | . | К. | —·40 |
| Учитель, комедия | . | . | " | —·60 |
| Камяна душа | . | . | " | —·20 |
| Сон князя Святослава | . | . | " | —·80 |
| Едіп царь Софокля, перекл. | . | . | " | —·60 |
| Майстер Чирняк | . | . | " | —·50 |
| Будка ч. 27 | . | . | " | —·50 |

Наукові розвідки:

| | |
|---|--------|
| Іван Вишенський і его твори | К. 2.— |
| Панщина і єї скасоване | " —·60 |
| Писаня Котляревського в Галичині | " —·15 |
| Карпато-руське письменство XVII та XVIII в. | " 2.— |
| Студії на полі Карпато-руського пи- сьменства I. | " 1.— |
| Варлаам і Йоасаф | " 4.— |
| Хмельницька 1648—1649 у сучасних віршах | " 3.— |
| Слово о Лазаревім воскресеню | " —·50 |
| Апокріфічне евангеліє Псевдо-Матвія і его сліди в укр.-русськім пись- менстві | " —·40 |
| Забутий укр. віршописець XVII в. | " —·40 |
| Пяницьке чудо в Корсуні | " —·15 |
| Памятки укр.-русської мови і літера- тури I. (Апокріфи старозав.) | " 4.— |
| Памятки II. (Апокр. евангелія) | " 5.— |
| Памятки III (Апокр. апостольські ді- яння) | " 5.— |
| Галицько-руські нар. приповідки, т. I. | " 3.— |
| Свв. Климент у Корсуні (друкувє ся) | |
| Грималівський ключ у р. 1800. | " —·40 |
| Житє і Слово, 6 томів | " 30.— |

Дістати можна в книгарні Наукового
тов. імені Шевченка і в книгарні Ставро-
пігійського Інститута у Львові.

HDI

HW 8AE8 3

THE BORROWER WILL BE CHARGED
THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION
IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO
THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST
DATE STAMPED BELOW.

BOOK DUE RD.
JUN 9 1980
6685628
1980
3/80

CANCELLED
FEB 19 1980
WIDEN BOOK DUE
FEB 19 1980
1428845

